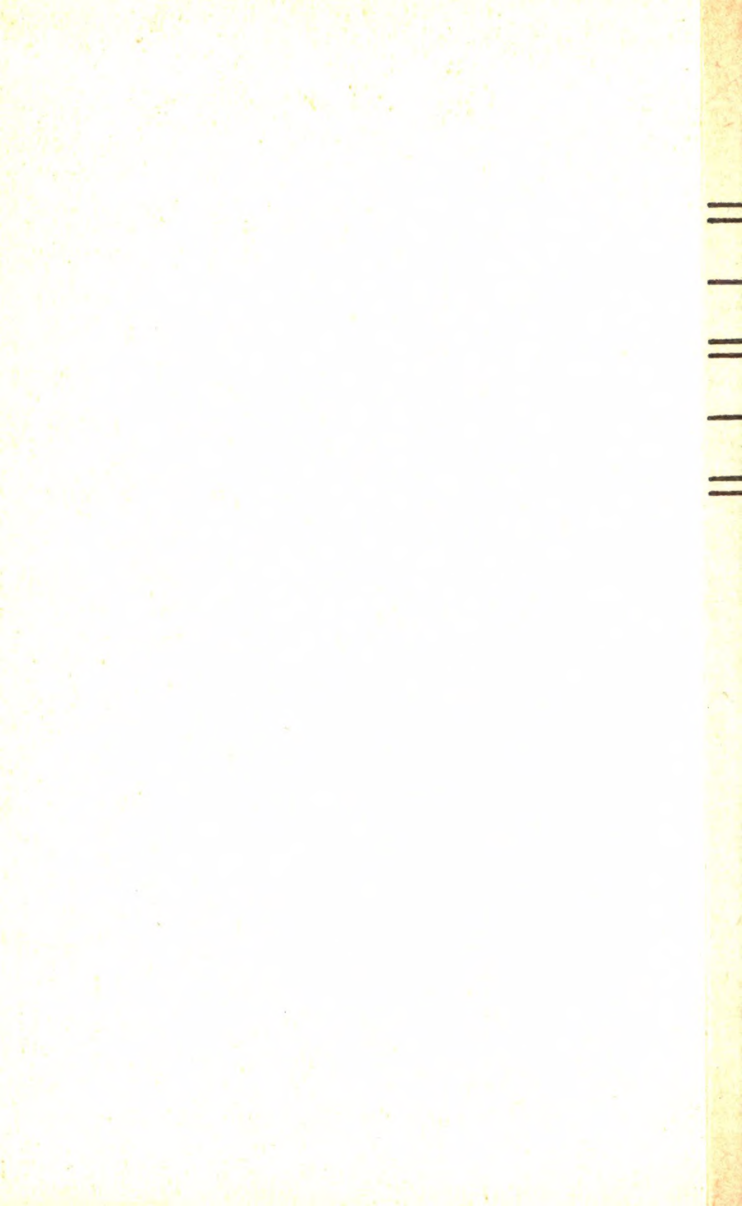

КНИЖКА В КНИЖКЕ
ЛЮДМИЛА ВОЛЧКОВА
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЛА СЕЛЬЯНОВА
СТРАННИКИ



ЛЮДМИЛА ВОЛЧКОВА

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

АЛЛА СЕЛЬЯНОВА

СТРАННИКИ

Рассказы

«Современник»
Москва
1987

Р2
В68

Рецензенты: *В. Исаев, А. Скалон*

В $\frac{4702010200 - 197}{М106(03) - 87}$ 34 — 87

ЛЮДМИЛА ВОЛЧКОВА

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Театральная история

Мимо лейтенанта Валеева по мраморному вестибюлю пропорхнула известная актриса. Она казалась такой озабоченной, такой независимой, будто работала в казенном скучном учреждении.

Лейтенант Валеев машинально достал расческу и прикоснулся к коротко стриженным волосам. Он выглядел старше своих двадцати семи лет, был флегматичным человеком, а это качество частенько путают с уверенностью в себе. Сам Валеев считал, что уверенности ему иногда недостает, поэтому в момент колебания выбирал более жесткую линию поведения и не раз в кругу друзей даже называл себя жестким человеком. Валеев думал, что непоколебимость нужна офицеру не меньше, чем солдату — дисциплина. Служил он четвертый год. Сперва в пограничном поселке, потом неожиданно последовал перевод в этот шумный город.

Странное задание командования, которое сейчас выполнял Валеев, лично он расценивал как послабление по службе. Но начальство усмотрело в мероприятии воспитательный момент — что ж, он воспользуется этим моментом и отдохнет. Тем более что его рота — лучшая в части, он устал от собственной требовательности. И хорошо, что близок отпуск!

А пока театр готовил предпраздничное представление к круглой дате — феерическое, феноменальное, с грандиозной массовкой. И вот

моряки и солдаты целую неделю «брали» Зимний дворец. По замыслу режиссера этот штурм был самой яркой сценой в спектакле: неожиданно распахивались двери, и нарядный зал — красный бархат, дорожки, публику в вечерних шуршащих туалетах — вдруг заливала ревущая, серая, грозная вольница: «Ура-а-а!!!»

Валеев не хотел признаваться себе, что его немного пьянила новая, таинственная, непонятная эта жизнь. Вообще-то он театра не любил, предпочитал кино и, даже когда по телевизору показывали спектакль, испытывал разочарование: фильм, конечно, лучше.

Он заглянул в зал.

— Зачем ты на пуанты встаешь? Будь естественнее!— слышался со сцены крик пожилого режиссера, его голос невнятно отзывался под балконами и сводами зрительного зала эхом.— А теперь догони, догони его фразой!

Валеев видел, как к режиссеру нервной уверенной походкой приблизилась знаменитая певица. На репетициях она пела под фонограмму, и поэтому солдаты отзывались о ней неуважительно. Певица коротко отчеканила что-то, наверное, оскорбительное, потому что режиссер сразу схватился за голову, а обидчица гордо удалилась.

— Что я после демобилизации делать буду?— мимоходом привычно ужаснулся лейтенант Валеев.— Никакой тут дисциплины у них!

Ясно было, режиссер не умел подтянуть гайки в своем разболтавшемся коллективе. И Валеев вспомнил, как в первый год после училища пришел в подразделение, сказал:

— Это у вас еще были цветочки. Сам зарядку проводить с вами стану, из казармы

не выйду, пока не будем лучшими в части.

Валеев не был женат, поэтому возражать против его ночевок в казарме никто не стал. Перед ответственной проверкой комдива рота не спала, и сам лейтенант ходил между двухъярусных коек в большом волнении. Кто-то из старших водителей-понтонщиков подозвал его:

— Прямо глаз не сомкнуть... Товарищ лейтенант, как там завтра?!

— Посмотрим...

«Я-то их взвинтил своим порядком, а должен кто-то и поддержать,— рассказывал он потом однокашнику понятое в эту ночь.— Присмотрелся: есть такой человек в подразделении. Выбрали его комсоргом. Я подсказал, конечно. Что ж ты думаешь? Наладил комсомольскую работу. Отлично. На собрании прочтет доклад как положено и спрашивает, кто хочет выступить. Молчат. Час молчим — десять минут перерыв — и снова сидим. А мне интересно, чем дело кончится. Он, понимаешь, откуда-то взял, что должны человек пять в прениях участвовать. На третьем собрании прекрасно разговорились. По делу, главное...»

Лейтенант Валеев любил отлаженную коллективную жизнь, ее незамысловатые новости и общее переживание удачи.

Он радовался за своих, когда узнал, что рота попала в «актеры», и смотрел веселыми глазами на солдат, которых позвали в костюмерные: выдали им театральные шинели и бушлаты. Напускное равнодушие слетело с ребят, как пыль с залежавшихся костюмов. В тесных комнатах отражались в зеркалах загорелые руки, лица. Все принялись здесь толкаться и хохотать от того дурашливого чувства,

которое обычно возникает в предбанниках и на пляжах, когда вместе с одеждой люди словно теряют часть обычной самоуверенности и делаются легче в общении.

Валеев встретился взглядом с одним из своих и улыбнулся почему-то иронически...

Усталый режиссер отозвал его в сторону, чтобы еще раз объяснить расстановку сил: значит, моряки в черных бушлатах, перепоясанные пулеметными лентами, побегут с двух сторон вперемежку с солдатами. Оттуда и... отсюда, пожалуй.

Валеев слушал его с напряжением и теперь просто кивнул.

— Вот и чудесно. Пожалуйста,— со вздохом сказал режиссер.

Он побежал к осветителям, махая рукой на двери зала. А солдаты выстроились, по приказу рассчитались на «первый-второй».

Вернувшийся режиссер непомняще, загнанно посмотрел на лейтенанта и крикнул, воздев руки к потолку:

— На две группы, на две — я же просил, господи! Товарищи, репетиция стоит десять минут!

— Уже,— вежливо сказал раздраженный Валеев и показал свои отряды.

Режиссер замер на секунду, потом с очаровывающей, почти женской улыбкой выговорил совсем по-другому:

— С ума тут сойдешь. Для вас теперь не повторяю!

В успех спектакля Валеев, честно сказать, не верил. Не представлял, что сюда придут люди, наступит мишурный театральный праздник, но ему было интересно наблюдать стол-

потворение на предыдущих репетициях и приглядываться к режиссеру.

— Внимание!— протяжно крикнул режиссер в микрофон, обращаясь ко всем сразу — к музыкантам, солдатам, матросам и осветителям.— Берем Зимний! На последнем аккорде «ура» сделаем и — к сцене, пожалуйста!..

Сыграли последний аккорд. После секундной паузы захлопали вразнобой двери зала и «а-а-а» наполнило огромное помещение.

— Стоп! — крикнул режиссер сердито.— Стоп, не то. Надо мобилизоваться, товарищи. И громче... Сначала!

Все сбились вокруг режиссерского стола.

— Товарищ лейтенант! — тяжело дыша, сказал Валееву кто-то.— А может, для правдоподобия «полундру» покричать?

Валеев прикинул в уме, как оно будет, но по своей нерешительности, которая иногда приходила совсем некстати, замялся и спросил совета у режиссера. Тот ответил — можно.

— А ругаться?— приглушенно крикнули сзади под общий смех.

— Цензурно и не всем сразу,— сказал режиссер.

С топотом и невнятным бормотанием толпа снова вылилась из зала. Оркестр сыграл медную бравурную, ослепительную партию, и снова угрожающее «ура» понеслось между рядами. Теперь, думалось лейтенанту, режиссер будет довольный. Но толпа снова обмякла, остановленная властным жестом, зашаркала по коврам.

— Не то,— помотал головой режиссер, вцепившись руками в седую шевелюру.— Подъема нет. Настроения...

Лейтенант Валеев почему-то почувствовал, что происходящее перестает ему казаться игрой. Ну, впору самому просить винтовку, чтобы бежать вместе со всеми. Он почувствовал досаду на режиссера и обиду за своих солдат.

А вспомнил еще вот что: однажды в крымском санатории ему показали гвардии лейтенанта, которого солдат заслонил от пули грудью.

— Это ж надо понять, да? Видишь, что в кого-то целятся, и — самому лезть под пулю,— говорил тогда взволнованный Валеев приятелю, показавшему спасенного лейтенанта.— И главное: ни в каком уставе не может этого быть, чтобы принимать чужую смерть, правильно?

Валееву вдруг страстно захотелось, чтобы сцена удалась, чтобы режиссер понял, какие необыкновенные люди у него в массовке. Рядом с ним кто-то хлопал себя по карманам в поисках сигарет и тихонько ругался — забыл, что курить в зале нельзя. Кто-то вытирал пот со лба.

— Граждане революционные солдаты и матросы!— вдруг громко и чуть не по слогам сказал режиссер, взобравшись на стул.— Сейчас вы совершите самое главное дело в своей жизни, вы будете решать судьбу революции!

Освещенный царски роскошными хрустальными люстрами зал словно умер. Даже монтировщики перестали бестолково стучать молотками на сцене. А те солдаты, которые сели в бархатные кресла, теперь стояли.

— ...зато дети будут жить лучшей, счастливой жизнью. Да здравствует мировая революция! Ура!!!

Лейтенант Валеев увидел, как бегут к сце-

не солдаты, стаскивая с плеча винтовки, кто-то поправляет пропитанный «кровью» бинт на голове, матрос машет бескозыркой с надписью «Громъ». И не было их на сцене, но вдруг увидел тяжелые ворота, которые распахиваются под напором бегущих.

Валеев оглянулся и увидел: осветители тоже кричат в своих ложах, и режиссер кричит...

А жаль, что репетиция скоро кончилась — честно, жаль!

Усталость режиссера сняло как рукой. Он разрешил забрать костюмы, и прямо в пулеметных лентах и бинтах все разбрелись по машинам, которые тут же покатили по предпраздничному городу.

Вместе со всеми Валеев пел старые революционные песни — «В бой роковой мы вступили с врагами...»— и глядел на прохожих. Те останавливались, и Валеев сам видел, как какой-то старик помахал им вслед рукой.

Гвардии капитан Хряпин

Таня Кондратова перечитала письмо матери, дошла до слов «уж вы не оставьте нас в беде», и ее снова поразила слезливая жалкая интонация. Умеют близкие родственники бить ниже пояса, в этом им не откажешь — а после выясняется, что не было особой нужды в поспешных мерах. Прежде мать держалась подтянуто, производила впечатление сильной женщины. Надеясь, что сообщение сильно преувеличено, Таня все-таки по-

шла вечером на междугородный телефонный пункт. Ждала Смоленск долго, нервничала от томительной духоты, и когда наконец ее соединили с родительским домом, уже издерганная, кричала в полуоглохшую пластмассовую трубку:

— Это серьезно, по-твоему? Операцию предлагают? Не переживай ты! В первой, что ли, кладут?! А он как сам-то? Как отец?.. Хорошо. Валя завтра поедет, а я только через неделю смогу. Конечно, все обойдется. Возьми себя в руки, мам!..

Тане все вспоминалось, как два года назад всей семьей уговаривали отца согласиться на операцию. Он даже лег в госпиталь. Таня приехала тогда, чтобы приободрить его накануне ответственного дня, и у дверей квартиры подумала: «Вдруг сейчас сам откроет двери?» Позвонила... На пороге стоял отец. Так и есть: за день до операции сбежал из больницы. А ведь знал, знал! — что дела его плохи...

Наверняка история капитана Хряпина оставила бы ее равнодушной, не думай Таня в эти дни об отце.

Комната у Хряпиных была победнее прочих, где доводилось раньше бывать. Так мало ли какие у человека обстоятельства? Таня работала участковым врачом первый год, но повидала уже всякие квартиры.

Вызывали ее не к самому Хряпину, а к его жене. Та почти не вставала с постели, но болезнь обострялась редко, поэтому Таня появилась у них впервые.

— Может, и меня послушаете?— робко попросил старик, который прежде не подавал голоса и все время держался за спиной Тать-

яны, раздражая, мешая осматривать больную.

Старик накануне переволновался в своем домоуправлении — ругался с начальством — он сидел теперь перед Татьяной подавленный, с аскетичным сухим лицом и тонкими обиженными губами. Болело у него за грудиной. Не так давно еще ставили дигноз «невроз сердца», но в последнее время стали считать, что есть общее изменение нервной системы. Были у него, конечно, и возрастные нарушения. Так Татьяна и объявила, хладнокровно укладывая стетоскоп в дамскую сумочку.

— Дак ведь как же не нервничать?!— согласился старик.— Я даже в газету написал. А эта, в домоуправлении, говорит, что не за что мне медаль.

— Медаль?— вежливо удивилась Татьяна.

— Дак ведь я ходил спрашивать, положена ли мне медаль, как ветерану труда...

Татьяна неприязненно подумала, что вот ее отец, который лежит сейчас в госпитале инвалидов войны, ни за что бы не пошел хлопотать о медали, и ей захотелось поскорее уйти из этой квартиры на улицу, где солнечный вечер и июньская благодатная зелень.

Вызов к Хряпиным был последним. Она сняла белый халат и осталась в вельветовом коричневом сарафане, который надела для подъема настроения и бодрости духа.

— Зачем вам медаль?— почти насмешливо спросила она.

Хряпин вздохнул опечаленно и сказал, что эта, в домоуправлении, где он работает дворником, тоже спросила так. У него, конечно, и без того есть четырнадцать орденов и медалей, но за войну. Еще б и эту получить...

Похоже было, что старик не врал. Он говорил скрипучим голосом человека, который редко высказывается, да и фразы кроил короткие, словно с трудом. И уж, пожалуй, никогда не выступал перед школьниками.

— Берлин брал. На рейхстаге расписывался,— словно оправдываясь, пробормотал он.

— А что вы написали? Не помните?

— Помню,— он хмыкнул.— Неудобно только повторить... Да там, наверное, закрасили мой автограф...— И чтобы отвести разговор в сторону, добавил: — Я к тому времени уж гвардии капитаном был. Вы не верите, поди?

Он, круто развернувшись, придвинулся к окну. Татьяне стало жаль, что разговор оборвался на такой недоброй ноте, и она обдумывала, что бы такое сказать на прощанье, но старик открыл комод и стал что-то искать в нем, бормоча:

— Где эти все?.. Неля, куда задевала? Давно не вижу, не попадались...

Жена ему подсказывала, а он все никак не мог найти свои наградные документы и регалии.

— Так вы что ж, и не надеваете их никогда?— спросила заинтересованная Татьяна.— Даже в День Победы?

— Никогда не надевает,— подала слабый голос жена.— И раньше никогда не носил.— Вздохнула.— Живем — никому не мешаем, и помрем — никто не заплачет.

Татьяна в замешательстве поглядывала на обоих и не могла решиться задать следующий вопрос: тогда зачем? Для чего нужно нервничать, ругаться в домоуправлении, писать об этом в редакцию?..

Наконец гвардии капитан Хряпин достал старую коробку из-под дорогих конфет и с просветленным лицом положил ее на стол: не верите — смотрите сами. Вот свидетельство, черным по белому... что получил трофейный мотоцикл за смекалку и мужество, проявленные при выполнении специального боевого задания, вот справка, что прошел всю войну: призван двадцать второго июня, ушел в запас девятого мая...

— А знаете, как мы воевать начинали? Перед артподготовкой говорят: считайте снаряды — двадцать пятый разорвется, тогда из окопов!.. А немец, он снарядов не считал! Он их вдоволь сыпал!

Гвардии капитан немного приосанился и старался держаться теперь молодцом.

Пока он говорил все это невыразительно и скрипуче, Татьяну вдруг пронзило странное чувство единства времени: такие вот комбаты, идущие в атаку, вдруг совместились с рассказами отца, тоже капитана-пехотинца, и еще — с виденным совсем недавно документальным фильмом, без ретуши и грима... Ведь все это было их молодостью, страданием, доблестью, зенитом жизни!..

Татьяна собралась с духом и спросила, так зачем же все-таки медаль? Для чего?

И гвардии капитан Хряпин снова сник. Безучастно ответил — чего ж тут не понять? Вот он дворник и, прямо скажем, незаметный человек, хотя работу свою любит, а умрет — тогда все и увидят... и какой-нибудь мальчонка скажет удивленно: глянь, а дядя-то Коля героем был! Потому что понесут на атласных подушечках пятнадцать наград. Разве не ясно?

Татьяна вдруг поняла, что не может разобраться в переполнявших ее чувствах. Ей трудно оставаться со стариками, и, сославшись на другие вызовы, она поспешно распрощалась.

По дороге к сестре, в семье которой жила, Татьяна опять вспомнила, что отец направлен в больницу в шестой раз, что предстоит операция, что за исход поручиться трудно, и расплакалась.

Два года назад, застав его дома, она испугалась предстоящего нелегкого разговора, занервничала и на вопрос, так ли уж необходима операция, с размаху ответила: «Да! Если пожить еще думаешь...»

— Под нож, значит? Я так и знал, что ты мне подпишешь приговор,— обреченно сказал тогда отец.

Таня растерялась, замахала руками: ну, что ты, что ты?! Можно без операции обойтись, если уж так боишься. Если говоришь такие жестокие слова, в таком отчаянии. Лечись консервативно, таблетки пей.

И отец сразу поверил ей, стал добрым. Обрадовался, как ребенок.

Татьяна шла дворами, чтобы не попадаться на глаза прохожим. Когда на неё пристально смотрели старушки у подъездов — прятала лицо, наклонялась, как бы роясь в сумочке.

«Почему жизнь оборачивается такой несправедливостью,— думала она.— Как это случается, что эти освободители-капитаны переживают свою славу, свою храбрость, взяв свою высоту. И остается им после подъема путь — вниз, с горы. Как это вышло, что отец малодушничает перед операцией, мучает своим страхом родных, окружающих, себя... Почему

орденоносец Хряпин работает дворником. Нехорошо это. Несправедливо!

Дома она приготовила ужин, забрала из детского садика племянника Антона, погуляла с ним по улице и решила, что надо бы еще раз заглянуть к Хряпиным, словно бы проведать больную, но главное — сгладить неловкость от своего поспешного ухода.

Вечером она приняла ванну, и к ней пришло несравненное ощущение легкости, когда после тяжелого дня усталость и заботы отступают. Утром настроение тоже было ясным. Когда медсестра зачем-то вышла, Татьяна достала газету и позвонила в редакцию. Услышав, что она лечащий врач Хряпина и хочет помочь, с ней охотно разговорились, рассказали о письме и обещали принять меры.

— А он правда имеет право на медаль?— осторожно спросила Татьяна.— Как вы считаете?

На том конце провода помолчали, видно журналист соображал, потом объяснили, что дело неясное и надо уточнить в домоуправлении. Надо туда звонить, а еще лучше зайти.

— Я зайду,— неожиданно для себя пообещала Татьяна.— Мне по дороге.

Журналист обрадовался:

— Позвоните нам после. Мы, конечно, и сами по телефону проверим, но лучше сходить...

Татьяна поругивала себя за то, что лезет не в свое дело, но пошла. Возле домоуправления она постояла, подумала и так не открыла дверь. Зашагала к Хряпиным.

Старуха спала, поэтому гвардии капитан провел Татьяну на кухню и, замешкавшись, спросил, не поднять ли жену.

Татьяна сказала, что хотелось просто ее проведать, а осмотр сегодня необязателен. Сон — лучшее лекарство. И они остались сидеть за кухонным столом в грязноватой кухонке, которую белили, наверное, много лет назад.

— Знаете, песня была? «Наши окна друг на друга смотрят вечером и днем». Вот и мы с Нелей так жили,— тихо и улыбчиво сказал капитан.— Всю войну ждала. Я приехал, мы расписались и — на Кавказ.

Татьяна представила себе бравого гвардии капитана, вернувшегося с медалями и трофеями, представила свадебную поездку. Неопределенно протянула:

— Понятно...

— В Минводы поехали, но ей уже тогда плохо помогало.

— Так вы что...— робко удивилась Татьяна.— Уже на больной женились?

— Ну да,— обыденным голосом ответил Хряпин.— Это в войну она как заболела, и — до сих пор. Уход, конечно, нужен. А кто поможет, как не родной человек? Все — около дома, в дворниках. Тут недалеко санаторий, источник есть — я там воду беру. Покрепче был — за ягодами ходил в лес. Раньше книги читал ей...

Ошеломленная Татьяна поговорила еще несколько минут и, обещав наведываться, зашагала к домоуправлению.

В квартире, где стояло несколько канцелярских столов и устаревших шкафов с бумагами, работали две женщины. Одна была помоложе, лет тридцати пяти, симпатичная. Другой на вид около пятидесяти.

Татьяна собралась с духом и, слегка подтасовав карты, сказала:

— Меня просили в газете узнать о вашем сотруднике. Расскажите, давно ли у вас работает Хряпин. И о конфликте...

— Да ведь он пьющий,— заметила укоризненно пожилая.

А лицо у молодой женщины покрылось розовыми пятнами, и она, стараясь быть приветливой, неслужебным голосом сказала, что знает о письме дворника в редакцию — грозился написать. Действительно, разговор у них вышел резкий. Может быть, его даже и обругали в запальчивости.

Татьяна заметила, что кожа у нее на шее загорела и потому кажется не совсем чистой.

— Он должен получить эту медаль?— пропуская мимо ушей оправдания кадровички, спросила Татьяна.

Оказалось, та работает недавно и не знает Положения.

А дворник он хороший. Даже раньше времени из отпуска выходит, не может видеть бумажек на своей улице.

— Только он же... пьет. А так работник золотой.

Татьяна, и сама привыкшая мыслить категорично, на этот раз едва не воскликнула: «Ну так что же?!» Однако сдержалась и спросила, правда ли та в разговоре о медалях бросила Хряпину: «Атласу на вас не хватит, награды ваши нести...»

Кадровичка опять пошла пятнами, но не вспылила, сдержалась и тем же милым голосом объяснила, что выдерживать присутствие дворника Хряпина ей тяжело, потому что она

беременна, а от него резко пахнет... Ну и раздражительность подвела.

— Вам надо перед ним извиниться,— сказала упавшим голосом Татьяна, а сама подумала, нужно ли ему это извинение.

— Перед дворником?

Она шла домой и перебирала подробности разговора в домоуправлении. И чувствовала, что в ее душе закипает какая-то личная злоба, какая-то ненависть к этой милой женщине с приятными манерами и приветливой интонацией. И казалось ей, что именно кадровичка виновата в болезни жены Хряпина, в бедах капитана и даже в давнем ранении отца.

Семь верст до небес

Печь у нас — всем на зависть. Дед еще клал, мои красавицы, когда кирпич лаптем делали, да месяц сушили, да потом только обжигали. Из того кирпича печник какой хошь краешек мог отломить, а нынешний, заводской, где ни стукни — он все пополам!

Вот печь стоит и тепло. Жить охота. А то заглядываю это я к медичке, к соседской Гальке на Николу зимнего (за дрожжами, помню) — батюшки! Пар изо рта... Мальчишка плачет в кроватке.

— Петровна! — говорю.— Хоть ко мне давай, что ли? Гляди-ко, у парня у твоего ручонки вовсе захолодали.

И стала с ним возиться. С детками заботы больше, а и день веселее. Известно — старость: ночью, как песок в глаза насыпали, не уснешь, утром встала — до самого вечеру день не кончается. Хозяин мой наденет валенки, фуфайку — и нет его. Иной раз шапку забудет, так к дружкам торопится. А я тоже смолчу с досады — мол, пустому сараю крыша не нужна. Шагай до обеда, проваливай!

Вот мы целый день с Максимкой и ладим. Пока мать не прибежит или Сергей. Отец-то у Максимки, Сережка-то, непьющий мужик, серьезный. Даром что шофер. Не в пример моему старику. Жалко только, женился не по-людски. Хоть про Гальку ничего не скажу — дай ей бог всякого добра. Она меня выхаживала по-соседски, уколы делала, когда я уж из больницы выписалась в давешнюю зиму. Так уж старалась!.. Я ей говорю: «Слышь,— говорю,— летом тебе бадейку земляники соберу. Уж помогай!»

Ну, отходила. Как теперь откажешь? «Понянчись, мол, с Максимушкой, я тебе заплачу».

А ну как опять болеть приспичит? «Уж я,— говорю,— без денег согласная». Гляжу — обрадовалась. Ну, Христос с вами. Не каждый день же и нянькаться — раза два иль три в неделю.

Максимка-то уж больно потешный парнишка. Не гляди что он у нас скороспелый. Через пять месяцев родился после свадьбы. Бабы смеются, а я им говорю: «Дак что за век-то суматошный. Все торопятся — дитя вот тоже поторопилось. Чего шуметь? Без толку молиться, без числа и нагрешишь».

Хотя, мои красавицы, прежде, конечно, девки поскромнее жили. Иную на улицу не вытолкнешь. А нынешние — праздника еще не настало, уж все разодеты, в клубе на плясках. Мы так-то одевались про свят день до обеда.

И детишек забаловали. Вот погляди на него — и кримплен, и не знаю чево! Мои-то в этом возрасте гусей с огорода гоняли, а эти несмышленые.

Я ж и сама в десять лет на фабрику пошла. Слышно было, спрашивали про нас хозяина: «Куда ж они деваются, когда постарше будут?» Говорил: «Усыхают».

Много ж нас померло. А эти — чуть кашлянул, мамаша на бюллетень. Хорошо хоть зима стоит сиротская, теплая. Гуляем с Максимушкой, и ничего — ни соплей, ни гриппу, ни тоски.

Старуха Семениха тут увидала нас, кричит:

— Ну, зачтется тебе, Катерина!

Ее б устам, да божьи ушки. Я, мол:

— Веселее так-то, забавный он парнишка. На моего Григория будто смахивает, что перед войной утонул.

Опять гуляем. Глядишь — еще день прошел. Детишки вверх растут, а мы уж книзу.

Хвастаться, знаешь, не хочу, а муж у меня редкостный: никогда не считает, сколько денег в доме. Я Маринке, сестре, сто рублей дала в том месяце на пальто. Сережа спрашивает: «Вроде оставалась еще монета?» Говорю: «Да ты что, болезный! Откуда?» И все.

Обижаться нечего, хотя и напрасно я замуж вышла в двадцать лет, а не жалею, что за

Сережу. Надо было погодить маленько. И все из-за меня, скрывать не буду. Я ему прямо сказала: «Если уж жениться, то давай по-серьезному гулять, а если я тебе для времяпровождения — привел из кино и «до свидания»— то лучше расстанемся, мне о будущем надо думать». Вот так у нас и пошло. Расписались. И Максима я вскоре родила. Смотрите! Будто понимает, о чем речь! Никак не угомонится — нашлепаю сейчас, наревется и спать будет. Он без этого не может. А еще говорят, второго заводи. Хорошо, у кого бабки. Тут у соседей оставишь на часок, так четыре раза прибежишь — сытый ли, живой ли? Не знаешь, за кем больше доглядывать — за дитем или за няньками. Ну, полы старикам в благодарность помою, постираю чего, хлеба в магазине куплю. Иду в ночную смену — Сережа с Максиком, иду в дневную — старики.

Когда государство станет платить рублей пятьдесят в месяц, заведем еще и девочку. Я бы на эти деньги сестру кое-как выучила. А то ей еще три года жить в городе. Стипендию не получает — слаба у нас Маринка, троечница.

Спасибо еще Сережа занимается с Максиком по вечерам. У меня хоть до посуды руки дойдут, перемою. Иной раз погляжу на них, скажу:

— Ты меня так не любишь, как своего Максика!

А он только смеется.

Я той любви от него вижу раз в месяц. Даже шутили с девчонками — мол, какие там измены, если ему до своей жены дела нет. Устает, конечно, за баранкой. Улягутся они с

Максиком, я бельишко перестираю, Сереже рубашку достану на утро, кашу сварю. Потом сяду и думаю, чего же мне еще-то сделать. Не верится, что день до края дошел.

Конечно, грех жаловаться, у всех так. А если уж ты спрашиваешь, чего хочется больше всего, так это — спать. Вот украли бы у меня этого дрянного мальчишку, я бы и вслед не посмотрела, а в ту же минуту — бух на диван и спала бы дня два. Неужели есть такие люди — без просыпу ночью спят и никто рядом не заливается? А Сережу будить жалею — рейс ведь завтра, как бы в аварию не попал.

Ну, иной раз думаю — все! Не могу больше. Звоню Маринке в город:

— Приезжай, хватит прохлаждаться.

Бросит она свою учебу, едет, помогает малость. Опять вроде так и надо. Полы вымою, мух газетой перебью, Максимку спать уложу, и вроде тишина. Как сто человек из дома вышло.

Хорошего ничего не жду, не было бы хуже. Да и все говорят: лишь бы не война. Себя не жалко, за двадцать три года уж всякого навидалась, а как подумаешь про ребятишек, главное — про своего, так жаль становится, прямо бы заплакала. Остальное-то — ладно, а вот войны не надо.

Ты не знаешь, что такое «Вельзевул»? Это в гараже слесарь про машину мою говорит:

— Ну и зверь — прямо Вельзевул у тебя, Серый!

Ты не гляди, что ЗИЛ обшарпанный. Я од-

нажды от начальника районной ГАИ на нем ушел, попутный транспорт обгонял, как стоячий.

А случилось так. У нас алкоголики лес валят, из профилактория. Я им обед на делянку вожу. Ну, народ, конечно, нервный. Раз опоздаешь — три раза покаешься. Гляжу на часы — почти все время у меня вышло. Я жму, понятно. И откуда бы ему вывернуться, начальнику ГАИ — на той дороге вообще сроду милиции не бывало. Совсем, думаю, опоздаю. Ходу-ходу, и по просеке убежал.

Вечером жена, Галька, спрашивает:

— Случилось что? На себя не похожий.

— Грязный, что ль? Так я всегда такой из гаража иду.

— Смурной.

Говорю, так и так. Права отберут, если заметили номер. Короче, рассказал. Галька, конечно, давай реветь, вот ведь дура!

— Иди сдаваться.

И всю ночь: иди да иди. Плюнул, поехал в райцентр утром. Прямо к начальнику. Вошел, поздоровался, спрашиваю:

— От вас вчера ЗИЛ уходил?

— А в чем дело?

— Так это я был.

Начальник даже из-за стола вышел. «Садитесь,— говорит,— рассказывайте».

Я рассказал. А кончилось смешно. Не поверил начальник, что можно уйти на моем драндулете. Сел я за руль, он в свой «газик», и опять мы гонки устроили, только теперь на шоссе, за городом. Он же не знал, сколько сил я положил, чтобы свой Вельзевул привести в порядок. Я в армии, между прочим, не в последних ходил.

В общем, разъехались почти что друзьями. Гальке говорю:

— Зря ты меня гоняла, номер-то они не заметили.

Она — опять в слезы. Прямо изводит она меня своим ревом. Я ее жалею, хотя никакой такой любви меж нами не было.

Ведь как получилось? Из армии я пришел, все уехать на стройку собирался. Ну, думаю, месяц погуляю, родственников обойду, отмечусь и — к ребятам. Мы даже день назначили, когда на Ярославском вокзале встретимся у касс дальнего следования. Да вот я застрял. Тут соседи и взялись: «Сергей, что ж ты жену не привез из города?» Ладно, смолчал. В другой раз кто-нибудь опять: «Да у тебя ж все друзья женаты, чего смотришь-то?» Опять отшутишься. Девки на танцах принимаются: «Жениться не думаешь, Сережа?»— вот так махнешь рукой и женишься — подавитесь!

Только охота мне иной раз поглядеть, что это за «любовь» за такая? Неужто у кого и в самом деле бывает, как в кино показывают?

На дороге подсадишь бабу какую посимпатичнее и начнешь к ней с разговорами подкатывать. Знает, что не увидимся никогда, такие истории рассказывает! Иной раз заплачешь от жалости. И такие бабы-то! В жизни не подумаешь, что она к нему в профилакторий этот за триста километров потащится. Да ведь тут не одна дорога,— и деньги надо найти, и продукты достать.

Потом думаешь-думаешь, что только в голову не придет. И до того хочется уехать, сил нет! Домой вернешься, вроде бы отпускает: Максимка лезет, Галька суп разогревает на

кухне. А то скажешь: «В сарай пошел, мотоцикл чинить». Позовешь соседского старика, немного с ним отведешь душу за бутылкой.

Я и перед женитьбой Гальке говорил: «Поедем! Поглядим на людей». Да теперь куда! С таким малым, как Максимка, разве стронешься с места?

Только смутно как-то — все ждешь, ждешь будто чего. Есть же у других людей радость или у всех, как у меня?

Переведусь на дальние рейсы. Я Вельзевул свой, конечно, жалею, а все равно попрошусь на другую машину. Тут в машине все дело, понимаешь. На моем Вельзевуле меня же дальше райцентра не пустят. А есть хорошие маршруты, ездят наши...

Всяческих вам благополучий

По утрам Надя, недолго полежав в постели, рывком вставала и делала несколько мелких шажков по кровати. Она не любила встречаться глазами с Виталием, потому что не успевала за эти несколько минут войти в роль образцовой жены. Подходящие слова на ум не шли. После умывания она старательно промокала полотенцем круглую шею, красивое лицо, возвращалась в комнату, к трельяжу, и лениво бормотала своему отражению с губной помадой в руке:

— Сейчас губочки на место поставим...

Из всех своих обликов больше всего Надя любила образ балованного ребенка — вытягивала трубочкой губы, щурила светлые подкра-

шенные глаза, капризно морщила маленький нос и говорила, растягивая первый слог, какие-то лепечущие сонные слова:

— Виталя, котик, завтракай. Скушай все, а то проголодаешься скоро. Я чуточку опаздываю.

Она слегка пережимала, чтобы муж уловил (если вообще способен на это) ее ироничное отношение к семейному обряду застолья. Надя всегда перестраховывалась, боясь оказаться беззащитной перед лицом судьбы.

Но Виталий только поощрительно улыбался и молча жевал бутерброды, о чем на работе Надя умела говорить беспощадно трезво.

Надя любила наставлять младшую сестру Галю в далеком, туманном приморском Владивостоке: «В наше время женщине убиваться на службе глупо. Беспроигрышно ставить только на семью — здесь на каждый твой шаг будет отдача. А на работе что? Чуть поднимешься да еще если поможет кто — и пошли интриги, бабьи пересуды». Но несерьезная Галька не умела отвечать обстоятельно, или не было у нее на сей счет ценных наблюдений? Она писала о своих первоклашках — «букварях», о пестрой жизни порта и — ни словечка о знакомствах, деловых связях, о планах на жизнь! «У нас тут весна света,— читала невразумительные строки раздраженная Надя,— все заблестело, посинело, покрылось мурашками от предчувствий».

Глупости. Пора бы Галине взрослеть!

Юность Нади с ее промахами, ушибами и невнятицей отошла. Вспомнить было что! Как славно сиживали они с подругой в ресторане у окна, зашторенного плотной декоративной

тканью,— соборы, золотые маковки церквей да белые башни! Только не надо ханжеских упреков, не надо — уже было на студсовете! Надя снисходительно выслушивала замечания от замдекана и понимала его — должность такая, ну — поругал. Однако из уст в уста передавали студентки друг другу его любимое выражение: «На нашем факультете все — звезды и ни одной — заходящей!»

Шли в ресторан Надя и Таня не для того, чтобы пить. В конце концов гораздо дешевле обошлась бы вечеринка в общежитии. Так, болтали, танцевали... Ради справедливости можно признать — порой принимали угощение, когда к ним подсаживались незнакомцы от соседних столиков. Это было даже занятно — удивлять неожиданно тонким разговором, ставить в тупик рафинированностью обращения, танцевать с нетрезвыми поклонниками под неотвратимый ритм танго снисходительно и равнодушно. А иногда откровенно пококетничать! Надя говорила о таких вечерах: «Лизали мед с бритвы».

Впрочем, сейчас пора забыть эти воспоминания.

О том, например, как однажды пришлось звать милицию с крыльца ресторана, как убегали с подружкой в ночную, сомнительную, скользкую подворотню. В новом городе — новая жизнь! Вот какой у нее был курс.

Но, сказать по правде, она любила иногда со сладким чувством тайной гордости вспомнить, как перед замужеством устроили они с подругами девичник — летом пришлось съездить домой за приданым, похлопотать, понервничать. Зато в ресторане уж и погуляли!

В просторном, как театр, высоком, нелепо освещенном зале ужинали студенты, налегавшие на пиво. Были и утомленные, с барственными манерами «обеспеченные люди», как определяла их Надя. Были, конечно, и любители путешествий. И музыканты лениво воздвиглись на эстраде. И грянули наконец в металлические струны: «Все-о-о пройдет, и печаль, и радость!»

И, конечно, после первой рюмки звуки начали растекаться, словно доносились теперь через вату. Иные слова приходилось повторять про себя, чтобы уловить их смысл. Стало тепло на сердце и жалко себя, свадьба показалась ненужной, глупой, ведь верно — «все пройдет»; а после сразу без перехода стало, наоборот, безумно весело, беспечно, нахально. И уже всем, кто приглашал, подруги рассказывали: однокурсницу бывшую пропиваем, выходит замуж.

Сжимает руку, наклоняется к маленькому красному ушку Нади какой-то неизвестный, черноволосый, красивый, с потными ладонями и умоляет — ах, чего он только не говорит!.. Нет, сначала он спрашивает у Нади, правда ли, что она выходит замуж. Серьезно? В этом городе свадьба, да? А почему же не приехал вместе с ней и жених? А? Надя хоть и не все слышит, но все, все! — понима-а-ает! И старается отвечать насмешливо, колко, загадочно, чувствуя, что к этому ее обязывает положение героини вечера.

И прыгают, покачиваются, вспыхивают люстры на потолке, высота и пустота пространства уже не гнетут, напротив — они придают всему вечеру праздничность и размах.

«Ах, Одесса!»— заиграли музыканты, и тут же не могли усидеть даже те, кто пришел сюда вовсе не для танцев, а хорошо поесть. Но кто усидит, когда взывают к твоей удали и бесшабашности — пропади все пропадом!

Надя с чувством превосходства поглядывала на незамужних приятельниц. Но настоящий триумф был, когда тот самый красавец атлет встал перед Надей на колено под конец танца и зал зааплодировал. Надя еще больше засияла, похорошела, даже сделала публике реверанс. Она секунду посомневалась, не подняться ли в самом деле в гостиничный номер вместе с настойчивым незнакомцем — Виталий не узнает, но отогнала эту мысль прочь, за что потом бесконечно себя уважала. Начиналась новая, строгая, обнадеживающая, заманчивая полоса в жизни.

Немногие однокурсники угадывали в ее разбитном характере за легкомыслием вечной троечницы здравый житейский ум. Как бы удивились соседки по общежитию, если бы знали, что эта Надя, которая любит без гроша в кармане заглядывать в примерочные магазинов готового платья и по утрам лениво часами наносит на лицо косметику,— эта безалаберная Надя распланировала жизнь на десять лет вперед.

Заладили вокруг: должна-должна! В ресторан не должна, учиться — должна. Курить — нет, не должна. Дежурить по этажу, по общежитию, не говоря уже о комнате,— непременно. Двоек нет — и, значит, отойдите: я свою главную задачу выполняю. Надя хорошо помнила, как это случилось в восьмом классе. Солнце светило прямо на письмен-

ный стол, дневник с пятерками лежал раскрытый, рядом стопка учебников. Оставалось позаниматься час, один часик. А там — можно завалиться на кровать с интересной книжкой про любовь, дали-то только в руках подержать. Нужно сделать письменные, а устные Надя пробегала перед уроком, память была хорошей. На улице дворник белит стволы тополей. Солнце. Еще немного позаниматься — и за книжку! Она всегда делала все уроки, чтобы не мучила совесть. И вдруг подумалось: а зачем? Чтобы в институт поступить? Так и сомнений не было — поступлю. Кому нужна эта ежедневная трехчасовая каторга? Сделаю кое-как, сделаю после. Кому я должна, еще неясно, а вот чего я хочу — так это книгу почитать. И с небывалым чувством освобождения, с сознанием преступности поступка Надя улеглась с книгой на кровать.

Потом учителя говорили — переломный возраст, в десятом классе все они подтянутся. Поругивали Надю. Не объяснять же им, что есть черта, где можно балансировать между «хочу» и «надо». Учителя тоже бы заладили: «Долг-долг!»

Она чувствовала себя хозяйкой в жизни. И все у нее сбывалось! Вот так-то, дисциплинированные активисты студсовета,— вы, кажется, пророчили путь по какой-то там плоскости? И за что же ругали? У кого, в самом деле, не было неудачных романов тогда, в институте, называемом по привычке «школой»? У вас романов вовсе не было? Ну, это ваша личная проблема!

Распределение в областной центр она торжествовала как немалую победу.

Подруг теперь не было. Зачем? Со службы Надя спешила в магазины и домой. Так надо. Так она рисовала себе настоящую хорошую жизнь. И подальше от рабочих неприятностей — ссор, мелких конфликтов, из-за которых сослуживцы глотали валидол порой или переходили из стана в стан.

Надя берегла энергию.

Выйдя замуж, она дала себе слово не терять душевной подтянутости, не стать одной из тех женщин, в которых так много грубой физиологии и вовсе нет подтекстов — они громко вздыхают, едят, бесцеремонно наваливаются грудью на стол и уже не думают о впечатлении, производимом на окружающих. Девушки — те воздушнее. Не слишком уставать! Этот девиз Надя, образно говоря, спрятала в медальон на груди.

Она часто размышляла о знакомых семейных парах: кто из двоих там кого украшает? Или еще так: кто у кого под каблуком...

Жизнь шла размеренная. Только однажды случилась неприятность, когда Надина мама вдруг позвонила родителям Виталия — а чего церемониться? И прямо спросила, написали ли они уже завещание, если да, то кому отойдут сберегательные книжки и золото? Свекровь, вздорная старуха, тоже хороша. Все ж устроила свою судьбу, второй раз под старость лет вышла замуж — могла бы и полюбезнее ответить. А то:

— Как кому? Детским организациям, конечно!

Еще интеллигентная женщина!.. А Надя поссорилась с матерью и не писала ей целых

полгода. Она не терпела, когда кто-то вмешивался в ее жизнь. О наследстве надо было начинать разговор позднее — неужели не ясно? Когда появился бы внук или внучка, то есть года через три. И здесь обошлись бы без чужих советов. Надя всего добивалась самостоятельно: сначала поселилась в общежитии в новом городе, потом завела роман и перебралась в ведомственную квартиру молодого лейтенанта, потом вышла за него замуж.

«Все сама да сама!»— вдруг с неожиданной злобой подумала Надя, бесцельно прохаживаясь по своим двум смежным комнатам. Да что с ней сегодня?!

Виталий рос единственным мужчиной в семье. Первым его самостоятельным поступком было поступление в военное училище, и всю инициативу, отпущенную ему природой, он реализовывал во вверенном ему подразделении, как про себя иронизировала Надя.

Плохое настроение, принесенное с работы, раздражало еще и тем, что причина была — пустяк. Почему-то подумалось теперь о Камчатке: говорят, там люди хорошие. Вспомнилась сестра — может, в гости съездить? Надя отогнала глупые мысли и занялась хозяйством — в ванной стала разбирать белье для завтрашней стирки: цветное — на пол, белое — в бак.

— Кисни!— сыпала она стиральный порошок в ведро с горячей водой.

— Кипи! — ставила чайник на плиту.

Прежде так приятно было листать журнал или книжицу, понимая уголком сознания, что дела не стоят на месте. В квартире порядок. И сама она ловко управляется со своим до-

мом и мужем. Ей доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие нарушать собственный режим, вставляя вдруг в план самые необязательные дела, а то и перебивая его чашечкой кофе с бутербродом. Она любила побаловать себя. Прислушивалась к своим «хочу», не теряла их.

Но сейчас настроение не улучшилось даже после выкуренной сигареты.

Все встает перед глазами лицо девчонки, виденное сегодня на улице,— шла какая-то в болоньевой куртке девица рядом с парнем, а лицо-то у нее, лицо! — откровенное, потерянное. Довольное, прямо скажем, лицо! За себя Надя могла ручаться — такого выражения у нее не было никогда. Такого бессмысленного переживания счастья. И с Виталием, и с другими, полузабытыми, полуизвестными, случайными и теми, кого долго добивалась. Приходило тщеславное удовлетворение, пресыщение, самодовольство, но все это было «достигнутым» и рассудочным. Никогда Надя не переживала этого чувства молодости и безоглядного счастья. Да и хотела ли?..

Полтора года все шло так организованно, чинно, и вдруг в последние месяцы — стало нечем жить. Надя запаниковала, принялась уговаривать себя: «Это только погода, давление сказывается. В отпуск пора».

Но в висках и в кончиках пальцев, сжимавших лоб, стучало: «Нет, нет, нет».

Она с облегчением рванулась к двери, услышав звонок. Думала, муж. Но это звонил телефон.

— Здравствуй, Надька! — торопливо кричала издалека Галя.— Как у тебя? Ты хоро-

шо меня слышишь? Надя, я, кажется, замуж выхожу.

— Ну и глупо! За кого?— равнодушно спросила Надя, хотя что-то в интонации сестры ее зацепило.

— За хорошего человека,— с неуместным хохотом отвечала та.— Правда, за разведенного. Он капитан дальнего плавания. Ты рада? Говорит, в отпуск куда хочешь поедем.

— Галя! — испуганно закричала Надя, согнувшись, как будто от этого ее голос был громче.— Ты вот что: послушай! Никаких отпусков. Ты не знаешь жизни, он тебя бросит. Думаешь, у него женщин не было раньше?

— Нет, не бросит,— легкомысленно отвечала сестра,— он тут рядом стоит, привет тебе передает. Что ты? Плачешь? Ой, тут радоваться надо, а она плачет!

— «Почему счастье — другим?»— хотелось воскликнуть Наде, вспомнившей лицо сегодняшней девчонки, но она сдержалась и сказала былой студенческой поговоркой: — Желаю вам всяческих благополучий! Поздравляю!

В конце концов уж Гальке-то должно было повезти. Галька этого хотела.

— Уж ты не поздравляй меня так горячо! Знаешь, Надя, — скороговоркой закончила она,— я позвоню тебе потом, одна. Я письмо тебе скоро напишу. И маме. Пока!

— Пока,— хмуро проговорила Надя, вытирая фартуком лицо.

Она вошла в комнату, включила телевизор и села в кресло, разглядывая свои покрасневшие руки. Впереди была распланированная, хорошая, безрадостная жизнь.

«На Камчатке людей добрых много...»—

вспомнилось еще раз слышанное когда-то за ресторанным столиком. Почему добрые люди всегда на краю света?

Алла едет за туманом

Влагой и мылом пахли простыни в натопленном вагоне, покачивало, и Алле хорошо было лежать на верхней полке, слушая под стук колес, как Оля скучноватым голосом рассказывает тете Клаве:

— Не за деньгами я еду, мне зачем? У нас на заводе все хорошо получали, и жили весело,— платье одно есть приличное, так хоть в пир, хоть в мир... Собирается девчонка из нашей комнаты со своим парнем в ресторан. А у нас перед зарплатой ни копейки — кто туфли итальянские купил, кто часы. Однако все мажемся перед зеркалом. Парень спрашивает: «А вы это куда?» — «А мы с вами!» Ну, чево ему делать? Сбегал в училище, к своим, пошли. Курсанты нам заказали все меню, мы голодные, но держимся, как королевы!

Тетя Клава кивала, так-так, вы — молодые, самостоятельные. Муж тети Клавы, посланный в командировку на КамАЗ, угодил в больницу с приступом печени, и надо было поглядеть, не нуждается ли он в чем.

Четвертым в купе оказался чуть заплывший жирком говорливый мужчина лет тридцати. Он все время пошучивал, спрашивал Олю, не за женихом ли она едет, называл ее «старой девой», на что она без улыбки отвечала: «Я не старая дева, а вечная невес-

та». У Оли было замкнутое, слегка помятое лицо. И Витя охотно смеялся над ее рассказами, но когда Оля бросала ему колкие реплики, сразу терял чувство юмора и сердито кричал:

— Шо за ерунда? Хде ты видела, шоб хохол торговал?

Тогда тетя Клава принималась их мирить, но Витя в негодовании выходил из купе, и Оля как ни в чем не бывало рассказывала дальше:

— Танец быстрый. Оглядываюсь, партнера нет, потеряла. Да еще зацепилась ногой за какой-то кабель. И всего-то два прожектора горели — желтый да розовый, так и те замигали. Официант говорит: «Что за хулиганство? Вы где находитесь?» Думаю, все — выведет, невезуха! Вижу, мой офицер рядом. Спрашивает официанта: «В чем дело?» И все честь честью. Официант сразу заметался: «Извините, ваша дама немного закружилась». Я ему кричу: «Накидали тут кабелей под ноги!»

Оля рассказывала без улыбки, но Алла с тетей Клавой то и дело хохотали. Потом тетя Клава угощала всех домашними пирогами, сплющенными в целлофановом пакете, а Витя, уплетая их, советовал девчатам держаться с ним рядом, обещал устроить обеих учетчицами, чтоб сидели Алла и Оля в синеньких халатиках, приглядывали кавалеров и слушали цеховой шум издалека.

И хорошо было вспомнить Москву, вокзальную сутолоку, редких прохожих на утреннем бульваре. Когда бульвар кончился, свет фонаря упал на памятник Гоголю, и Алла прочла на цоколе: «От Советского правительства».

Хотя светлое и теневое идут рука об руку, расстояние между ними то сходит почти на нет, то увеличивается так, что человек словно живет в одном измерении и, вроде Алки, думает тогда: «Да-да, знаю, есть где-то и горе, и печали, но сейчас это для меня далеко-далеко и когда еще подступит — неизвестно. До чего замечательно!»

Хотелось спать, но Витя так интересно рассказывал о хорошей камазовской жизни, что даже тетя Клава завидовала им и говорила:

— Молодцы, так-так. Кто лицом в работе, к тому и жизнь лицом. А то у иного, смотришь — ребра стали вдоль спины, лишний раз не нагнется. Поезжайте, вы молодые, тем более если пить не будете.

А пить на КамАЗе негде, Витя узнавал — там «сухой закон» и ничего такого не продают. Оля, косясь на него, сказала:

— Легко сейчас быть хорошим мужиком. Скажи про него, что не пьет,— семь девок на руке повиснет!

Витя легко попался на эту удочку и сразу принялся рассказывать, какой он трезвенник и как его за это ценит жена. Потом понял, что проговорился о жене, махнул рукой и, поглядывая на Олю, вовсе понесся с горы. Раз отъехал на две остановки от дому — считай, холостяк. Ну, не сложилась жизнь — ну, что теперь? Конечно, планы у Вити — квартиру ей получить — это первое. А то где ребенка воспитывать? С квартирой и ей скорее человек найдется. Так что квартира — самое главное. Второе... ну, и счастье свое поискать.

— Вы за меня держитесь! — командовал Витя, но на вокзале девчата его почему-то

потеряли. Оля повертела головой, вздохнула, потом на клочке газеты написала Алле адрес своей сестры в Челнах, и они разошлись.

Через неделю Алла надумала Олю навестить. Над первым подъездом Олиного дома висел метровый лоскут, исписанный довольно корявыми буквами: «Город дарю вам, построенный мной — живите!» И вспомнила Алла другой лозунг, тоже самодельно выполненный, который висел в Новом городе — «Гудеть КамАЗу, городу быть, давайте разом мечту творить».

Поднимаясь по лестнице, она разглядывала номера квартир и не обратила внимания на женщину впереди себя. Та оглянулась, сказала сонным голосом: «О-ой! Идет, не могу!..» И выругалась непристойно. Это означало, что она Алке страшно рада, а ругается — так ждала ее гораздо раньше, и для нее Алка — свой человек, ниточка, связывающая ее с отъездом, с прежней жизнью, хотя знакомы-то они были всего полтора дня.

Четырехлетний племянник Оли болел чем-то с рождения, и она пока выполняла обязанности няньки. Ее старшая сестра отправила сынишку спать и села вместе с ними на кухне пить чай. Она двигала Алке блюдце с вареньем, пряники, самодельный хворост и приговаривала:

— А вот скоро праздники, Леля. Зови подружку на пироги. Чево ей в общежитии томиться? Вместе на демонстрацию сходите — у нас тут весь город участвует, не то что где...

Оля размешивала чай, улыбалась и, выбрав момент, спросила, не попадался ли Алке Витя.

— Он мне свидание назначал,— равнодушно добавила Оля.— Не пришел... Вот и поду-

маешь, выходить ли замуж за таких мужиков? Сейчас я хочу — лягу, хочу — сяду, а там?.. Пьяница попадется или загуляет. У меня, не думай, все подруги вышли, что с одного года со мной, и все — зря. Со стороны смотреть просто: чужую беду руками разведу. А вон сестра — с больным парнишкой мается. Я ведь из-за нее только и поехала.

Алла не сказала, что встретила Витю. Она ходила по длинному коридору отдела кадров с надписями на дверях: «Молодые специалисты», «Выпускники ПТУ», натыкалась на людей, на их чемоданы, рюкзаки. Слышала чужие советы, кто-то хриплым голосом декламировал:

— Довольно, Сашуха, гулял ты немало, пора за работу, родной!

И небритый, загорелый Сашуха смущенно смеялся. Тут вывернулся ей навстречу Витя с направлением в руках и закричал:

— Я ж говорил, не обойдетесь без меня! Ну, надумала в учетчицы? Пойдем устрою. Со мной не пропадешь...

И при этом так посмотрел на Аллу, что она торопливо отказалась.

Сестра подливала чай и говорила:

— Обживешься, Леля, на завод пойдешь, подружку к себе со стройки переводи. Вместе-то спокойнее и веселее. Вот у нас в бригаде. Пока ты не приехала, мне все наши помогали. Пропала бы без них. Хорошо, когда с подругами работаешь.

Оля кивала и расспрашивала Аллу про общежитие, про соседей, про работу.

Какая уж там романтика? Поселили Аллу в пятиэтажном доме, прозванном за длину «китайской стеной», с теплыми квартирами, с

ванными и кухнями. Одну комнату в квартире занимает Алла и девушка из ее бригады, Тома. Они были даже чем-то похожи друг на друга — плотненькие, двадцатилетние. Только Алла приехала, сразу чувствовалось, издалека. Бросался в глаза курносый профиль, светлые волосы и улыбка, обнажавшая десны. А родители Томы жили поблизости, в ней бродили смешанные крови, и вы сразу определите это по цвету кожи, глаз и волос.

Верховодила Тома.

Во второй комнате, поменьше — жила уборщица Аннушка, женщина лет сорока. «Правда, я выгляжу моложе?»— с обольстительной улыбкой любила спрашивать она. Аннушка курила папиросы «Север», громко хохотала сиплым голосом и ярко красила сморщенные губы.

По вечерам Аннушка, подсаживаясь на кухне к девчатам, рассказывала новости. Она привыкла к большой компании, потому что росла в детдоме. А Тома с Аллой любили ее слушать и терпеливо сносили ее ссоры с мужем.

Иногда Аннушка его прогоняла, и Николай уходил в другое общежитие, там он, по правде говоря, и был прописан. Аннушка кидала ему вслед вещи, маленькая, озлобленная, кричала:

— Больше не пущу! У меня свой угол есть! Мне алименты хорошие посылают!

Самое обидное, что это повторялось перед каждой его получкой. Аннушка понимала, что Николай придет мириться через неделю, прокутив все деньги, знала, что простит, и не хотела прощать.

Она театрально восклицала:

— Не пущу! Не-ет!

Потом покачивалась на стуле; с болью говорила:

— Ну, чем я ему еще должна? Сыт, обихожен...

Она оглядывала комнату с картинами, вышитыми крестиком, и принималась громко рыдать. А то — ругала КамАЗ последними словами.

Тома и Алла с работы приходили пыльные и розовые с мороза, укутанные в тяжелые шали, фуфайки, в теплых брюках, шумные с улицы. Аннушка пила сердечные капли и под сочувственные реплики девчат ела картошку, жаренную на подсолнечном масле. А они рассказывали, как долго опять ждали машину — хорошо еще, попутная подвернулась, бригада, может быть, до сих пор так и прыгает у дороги. Утром у нас на чем хочешь увезут, вечером одна и та же история, жди до морковкиного заговения.

Негодование Аннушки обретало новое русло, и разговор приносил ей облегчение.

Оля, однажды увидев Аннушку, сразу вынесла ей приговор.

— Ты с ней осторожнее,— предупредила она Аллу,— она из таких — все выспросит, копию — на базар!

Но вахтерши и уборщицы общежития у Аннушки собираться любили. Сидели-то они в комнате девчат — там просторнее, поэтому к праздничному застолью приглашались и Тома с Аллой.

Уже с утра в праздник Аннушка украшала завитую голову атласной лентой и отправлялась на работу с утомленно-счастливым лицом. Ей

полагалось мыть полы в пяти квартирах, где жили парни — рабочие.

Аннушка везде находила отзывчивых, совестливых ребят, которые не умели от нее обороняться. Звякая ведром, она шла в ванную, громко плескала воду, шлепала-полоскала тряпку. От шума просыпались те, кому нужно было идти во вторую и третью смены. Аннушка появлялась в первой комнате, кокетливо спрашивала:

— Ну, кто поможет женщине?

Усаживаясь на кровать, доставала папиросы, начинала длинный щекочущий разговор о любви, рассказывала последние новости — кто с кем встречается и кто лично ей по-человечески симпатичен. Потом спохватывалась, что работа стоит на месте, и, не теряя веселого тона, без обиды говорила:

— Ладно, дело надо делать.

— Да постой ты, теща! — уговаривали ее.— Сейчас вон Сашка помоет.

— Дожидайся вас! Я как женщина попросила, а вы...

— Да что ты, теща? Эй, Сашка! Швабру бери!

Обращение «теща» Аннушку не обижало. Да ведь она сама подсказывала новичкам: если те мялись, не знали, как обратиться к ней:

— Ну-ну, зятек, что тебе?

Конфет и поздравлений получала Аннушка в праздники больше, чем остальные уборщицы. Хотя другие и полы мыли, и старались не тревожить спящих строителей.

Иногда парни спрашивали Аннушку:

— Теща, ты случаем в тюрьме не сидела?

И это надолго портило ей настроение.

В день вечеринки, хоть и не любила Аннушка кухню, она надевала ситцевый фартук с оборками и кое-как стряпала холостяцкий ужин на десять человек.

Накануне праздника по весенним улицам неторопливо шли с работы люди, благодушные, кое-кто уже слегка навеселе, некоторые несли цветы. Алла видела у какой-то женщины в большой сумке старые бухгалтерские счеты.

Вечером Тома и Алла притащили от Аннушки раздвижной стол, собрали у семейных стулья, перемыли тарелки и вилки, взятые в буфете. Алка еще и письмо успела дописать, начатое накануне: «...зачем ты, мама, выслала мне эти тридцать рублей? Мне так стыдно перед девчонками! У нас все тут есть, и суп варим каждый день. Не беспокойся...»

Наконец собрались свободные от вахты старушки, принесли банки с соленьями те, кто позапасливее. Прибежала на полчасика самая молоденькая уборщица — у нее без присмотра спал дома сын. И уже после второй рюмки все раскраснелись, принялись петь песни, повели разговоры про ЖКО, про побелку подъездов.

— Везде хвалят КамАЗ! — бубнил кто-то с пьяненькой Алкой.— А свинство развели в комнатах.

Начали ругать неаккуратность строителей, потом перешли на разговор о мужчинах вообще.

— Не знаете, не надо говорить! — горячилась Алла.— У нас бригада такая, скажи, Том? У нас все с комсомольскими значками ходят на работу. Верно, Том?

Тома лениво кивала.

Аннушка расшалилась и со смехом швыря-

ла через стол чайные ложки тем, кому хотела что-то сказать. Кричала:

— Дайте меду отравиться!

Ставили пластинки на проигрыватель — довоенное танго: саксофон, труба и пропитой тенор...

Вечером, часов в одиннадцатть, когда уже спали, пришел Николай, и они с Аннушкой ругали друг друга на кухне. Тома пошутила:

— Старому жениться — ночь коротка!

Потом кто-то постучал к девчатам. Тома в ночной рубашке до колен спрыгнула с кровати, звякнула задвижкой и тут же нырнула в постель к Алле.

Пьяный Николай покачался на пороге, старательно пробормотал в темноту:

— Я у вас тут — можно? Поздно уже домой...

И как был, в пиджаке, в брюках, улегся на Томкину постель.

— Николай, открой!— глухо и яростно велела Аннушка. Она ударила по двери кулаком и опять окликнула:

— Эй, открывайте! Тома, Алла!

Тома встала, но Николай ей сказал без нажима: «Лежи»,— и она в замешательстве села на край койки.

Аннушка, сдерживая гнев, с чувством сказала:

— А не стыдно! Чужого мужика в постель к себе положили. Девушки, называется!

Она замолчала, потом уныло побрела к себе, но там нашла новый повод. Деловито прошлепали шаги.

— Отдайте стол!— требовательно сказала

Аннушка из-за двери.— Он мне нужен. Девочки, слышите?

Алла и Тома встали, с двух сторон ухватились за столешницу и понесли стол к выходу. Но едва открылась дверь, как Аннушка пролетела мимо них к кровати, схватила Николая за грудки и принялась выкрикивать бессвязные угрозы.

В темноте Алла и Тома видели плохо. Кажется, Николаю было трудно обороняться лежа, но потом он вскочил, проволок Аннушку к выходу и, когда ей удалось зацепиться за дверь, несколько раз ударил ее, как бьют пьяных мужиков — кулаком по ребрам. Она стала хватать ртом воздух, поползла вниз по стене, а Тома и Алла, дрожа, сидели на кровати и жались друг к другу. Николай втащил Аннушку в другую комнату, и там пошла перебранка.

А девчата улеглись и начали шептаться о том, что надо бы поехать на другую стройку, в Белую Церковь хотя бы. Вот первый грузовик сойдет с конвейера, и хватит тут... Когда только?

— В педагогическое училище можно,— заводила свою старую песню Алла.— Сдадим, Том! Ничего!

Тома, уклончиво помолчав, говорила о Сергее из соседнего подъезда. У Томы планы на будущее были весьма неопределенными. Ведь любой план подразумевает цель, а цель была такой непостоянной и изменчивой, что оптимизм Томы то оживал, то увядал. Сергей, которому отводилась важная роль в Томиной судьбе, вдруг назло ей встречался с другой девушкой, и тогда она ходила с заплаканными гла-

зами, собиралась уехать. Если все шло хорошо, Тома светилась сдержанными улыбками, без конца обнимала Аллу и по вечерам возвращалась домой поздно. Алла просыпалась и ласково говорила:

— Ты сияешь, как медный самоварчик!

Сейчас настал благополучный этап судьбы. Но рассказать Алле все казалось невозможным, потому что даже неосторожный взгляд или двусмысленная, знающая улыбка постороннего человека могли навредить сложным отношениям, которые возникли теперь между Томой и Сергеем. Она даже ему не решалась говорить о своей беременности и надеялась, что время само за нее все решит. Это было похоже на затяжной прыжок с парашютом.

Шепот Аллы и Томы уже затихал, когда в соседней комнате снова вскрикнула Аннушка, что-то разбилось и шум выкатился в коридор.

— Ну, завыли, как из печной трубы!— недовольно сказала Тома.

Девчата высунулись из дверей — Николай в разорванной рубашке выталкивал на лестничную площадку Аннушку, а та, в старенькой розовой комбинации, в которой обычно спала, упиралась худыми ногами и голосила:

— Дружинников сейчас позову! Посажу тебя, так и запомни! Так и знай!

Алла с Томой оделись и пошли ночевать к знакомым вахтершам на первый этаж, рассудив, что покоя все равно не будет, а у тех сейчас дежурство и место найдется.

Утром Аннушка ходила с головой, перетянутой капроновым шарфом, и жаловалась на мигрень:

— Отметила праздник! Ох, девчонки, брошу его, честно! Выгоню, если придет. Надо уезжать, а юрист мне сказал, как мать солдата я могу жилплощадь получить, да притом и без очереди, может быть!

Но Алла и Тома видели, что Аннушка хочет примирения с Николаем. Алла сочувствовала, а Тома с трепетом думала о вечернем свидании с Сергеем.

— Бойся козу спереди, лошадь сзади, а дурака со всех сторон! — ворчала Аннушка.

Парни и девчата в доме жили по подъездам, раздельно. Виделись только в красном уголке, вечерние сборища у телевизора — это был целый обряд! Сердце замирало и обрывалось уже на пороге, только при взгляде на дверь, выкрашенную краской «слоновая кость». Ожидание встреч, неудержимые улыбки, щелканье бильярдных шаров, неопытное кокетство, реплики по ходу фильма и шарканье подошв во время танцев... Здесь назначали свидания, отсюда выходили на улицу потолковать с глазу на глаз.

О, весна в общежитии — орущие голоса любимых певцов из магнитофонов и проигрывателей на всех подоконниках, букеты куриной слепоты и ландышей в пол-литровых банках, ожидание счастья! И нескончаемая очередь в загс, и солидные разговоры — не лучше ли съездить к родителям, расписаться в поселковом Совете, чем ждать четыре месяца... А там, дальше — неясное и долгожданное: свой дом, семья, гостей принимать можно. Прощай, общежитие!

Здесь попасть в чужую квартиру с визитом — нешуточное дело. Потому что на первом

этаже каждого подъезда — вахтерша строго выпроваживает чужих. Между прочим, вахтерши вязали носки, читали журналы из почты жильцов, раскладывали газеты.

— Теть Шур, мне писем нету?

— Пишут.

— Совсем нету?

— А тебе что, половинку дать?

И подъезд перекатывал по этажам гулкий смех.

Пробегала мимо татарочка Фарида, вместо приветствия говорила: «Труд в пользу!» Алла отвечала: «На том и стоим!»

— Теть Зой, нету писем?

— Телеграмма тебе.

Алла радостно схватила листок телеграммы.

Вот так и обрывается хорошо налаженная жизнь — телеграммой или приказом начальства или окончанием строительства. Алла посмотрела на Тому, читающую через ее плечо: «Приезжай заболела мама». Они молча поднялись на третий этаж, к себе, и показали телеграмму Аннушке.

Аннушка, привыкшая к коварству судьбы, быстро составила план действий, и девчата, раздевшись, начали складывать чемодан Аллы. Потом расплакались, умылись, поужинали супом из концентрата под местным названием «гербарий» и отправились в красный уголок на первый этаж прощаться с друзьями.

— Я скоро приеду, Тома. Хоп! — сказала Алла на вокзале.

На КамАЗе щеголяли знанием языков. «Хоп» означало «хорошо» по-узбекски. Тома ответила «Хоп» и осталась ждать вестей. Через

день пришла новая телеграмма: «Высылай вещи Алла». Тома подумала, показала ее Аннушке, все решили, что надо подождать подробного письма — не горит!

И письмо пришло. Алла писала, что дома все здоровы, обещала приехать. Дальше шли приветы знакомым парням и вахтерам. Аннушке — отдельно.

Брат Женя сердито говорил родителям: «Привыкнет!» Он вернулся недавно из армии и хорошо знал, что такое — жить вдали от дома.

— Как она плачет, не могу видеть,— вздыхала его молодая жена. И, чувствуя поддержку, Алла принималась рыдать сильнее. Она выкрикивала насморочным голосом:

— Я по комсомольской путевке поехала, вы что — не понимаете, что ли?! Я КамАЗ строю — вы что, газет не читаете, да?

Брат отвечал железным тоном:

— Ты уже построила, пусть другие строят. Другим-то оставь немного. Учиться пойдешь! Не век на восьмилетке ехать. Ты ж в учительницы собиралась? В область тебя отправим.

Отец с матерью больше помалкивали, сознавая свою вину за то, что отпустили дочь на сторону. Мать робко поддакивала Жене:

— Что там — медом намазали тебе? Ни денег не привезла, ни одежи путной! И брала-то что — поизносила. Живи-ка дома!

А отец вовсе прятался на кухне.

Что они понимали?! Разве они могли поверить, что после КамАЗа везде глушь? Глухомань. Даже в области, даже в столице после

него — провинция. Разве они представляли, какие там у Аллы товарищи? Да взять и посторонних людей? Вот шли Тома с Аллой по проспекту Мусы Джалиля, а навстречу парень. Спрашивает: «Девчонки, хотите мороженого?» Алла говорит: «Давай»,— он протянул им одну из двух пачек, что нес в руках, и дальше пошел. Где еще с этим столкнешься? Эх, не рассказать всего!

Ночью Алле снился сон. Пришла она с работы усталая, голодная, а Тома зовет ее:

— Айда, Алла. Айда, пожалуйста, в красный уголок. Бригадир ждет.

— Вот я сейчас начну выводить, кто семечки лушпает! — грозным голосом уборщицы Аннушки говорит бригадир в красном уголке. И задумчиво оглядывается.— Маленько гуляют стены? А? Да, переделать надо, гуляют, о-хох! Комиссия не примет. Или примет? Ох, война — ерунда, прошли бы маневры!

А по телевизору показывают фильм «Человек-оркестр», Аллу когда-то приглашал на эту картину монтажник Саша, и слышится песня «Мой палаточный Братск самой первой любовью люблю».

Это было уже совсем невыносимо. Утром Алла вынула из-под подушки камазовские фотокарточки и снова заревела.

— Поезжай,— утомленно сказал брат Женя.— Пусть едет. Лучше там себе шею свернет, чем здесь слезами изойдет.

— Правда, можно?— с надеждой спросила Алла, размазывая по лицу слезы.

— Обрадовалась! — закричал брат. — Нельзя!

Через две недели Алла вернулась. Несколь-

ко дней они с Томой ходили взявшись за руки, и Аннушка потешалась над этим. Алла много смеялась, рассказывала взахлеб:

— Он говорит: «Работай на железной дороге, Лялька. Вот тебе и романтика, и жить будешь дома». Я говорю ему, что это его романтика, а моя — КамАЗ, самая главная стройка страны. А он ругаться: нахваталась красивых слов! Я говорю: «Такие слова надо стоя произносить!»

Тома улыбалась и ничего не говорила. Она понимала теперь, что правильно сделала, не отослав вещи после телеграммы. Хотя, если признаться, до приезда Аллы у нее были сомнения. И Тома крепче сжимала шершавую Алкину ладонь.

Тетя Глаша

У тети Глаши была дорожка прямого пробора в темных волосах, губы сердечком и карие медлительные глаза. Она прихрамывала.

Возле гостиницы, где она подыскивала клиентуру, толпилось довольно много народу, но с выбором она не спешила. Наконец привела еще двоих — молодоженов с Урала, и уже все вместе поехали осматривать свое временное жилье.

Молодожены путешествовали по Прибалтике, наивно уверенные, что в сентябре много свободных мест в гостиницах. Хорошо еще, добрые люди подсказали, как найти частную квартиру.

Мне тетя Глаша понравилась задумчивым

строгим лицом: не похоже, чтобы с такой внешностью шестидесятилетняя женщина могла грабить своих жильцов.

Между тем молодожены взяли такси (тетя Глаша предлагала ехать на трамвае, но не очень настаивала). Мы легко перезнакомились. Возбужденные новизной красивого города и мягким осенним воздухом, глядели по сторонам.

— А фонтаны посреди реки вы уже видели?

— Мы только по центру прошлись.

— Давайте завтра сходим в какое-нибудь небольшое кафе, где музыка, соки, кофе...

Шофер с интересом посматривал на нас в зеркальце.

А осень и правда выдалась на редкость. Туманная и безветренная. По утрам было прохладно. Радовали неожиданностью городские пейзажи: наклонно растущие над темной рекой деревья, узкие мостики в зелени прибрежных ив, лебеди, спящие на плаву.

Старый город под черепичными крышами. Кондитерские, ресторанчики.

К середине дня проглядывало нежаркое солнце, и тогда все располагало к неторопливым прогулкам. В скверах тихо пересвистывались птицы. Даже дети не слишком шумели и сосредоточенно собирали желтые листья под присмотром взрослых.

Возвращаясь домой, мы шагали от остановки троллейбуса к маячившему впереди серому костелу, и от малолюдности этих улиц, серого камня и черепичных крыш возникало неправдоподобное ощущение, что город покинут людьми.

— Дураки! Во дураки какие! Что вы делаете?— беззлобно и громко наставляла молодо-

женов тетя Глаша. Она сидела возле кухонного стола, сбоку, и приглядывалась к постояльцам.— Как вы чай завариваете?

Сама она обычно кипятила заварку. А была тетя Глаша из тех людей, которые не допускают сомнений в правильности собственных поступков. Таня, хмуря широкие брови, шептала в комнате:

— Я не сдержусь, нет. Я скажу ей, мне и дома нравоучения надоели. Какое она имеет право? Мы ей платим? Платим. Так еще и грубости выслушивать?

Сережа благодушно махал рукой — пускай. Всего ведь неделя...

На следующий день, пренебрегая плохим настроением, мы отправились в пригород на поиски достопримечательностей.

Таня знала, что Прибалтика славится янтарем. В ее планы входила покупка броши и бус. Но выбрать их самой, казалось ей, не по силам, поэтому Сережа и я привлечены были в качестве советчиков.

Разговоры о янтаре, о магазинах и сервисе продолжались у нас допоздна.

— Смотри-ка,— удивлялась вечером тетя Глаша наедине со мной.— За целую комнату платят, а тебе разрешают телевизор смотреть.

— Хорошие люди.

— Они хорошие, а ты заметила у Сережи наколку?

На руке у него и правда синела татуировка: год рождения, где вместо последней цифры стоял знак вопроса.

— По глупости сделал. В армии, может...

— Может быть. Только в армии такие наколки не делают,— мрачно заметила тетя

Глаша и пустилась в воспоминания: жильцы ведь разные порой бывают, тут не угадаешь с ними. Вот лет десять назад один солидный постоялец (это вначале он тете Глаше понравился) все норовил электроплитку включать, холодно ему, видишь ли, показалось. Сколько свету нажег! Она глазам не поверила, когда пришел срок платить по счетчику. И спросить не с кого, уехал квартирант в свою Рязань.

А в другой раз с женщиной случай вышел. Тете Глаше сразу бы догадаться, когда та стала хвалить ее рукоделие,— лежал у порога на лестнице пестрый коврик из лоскутков. Все спрашивала, как это шьют и где тряпочки яркие берут, достать бы тоже. Потом распрощалась, а коврик исчез. Хотя, справедливости ради надо сказать, случилась пропажа не в тот же день, а через неделю. Или даже через месяц.

Но теперь тетя Глаша осмотрительно выбирает жильцов. Это неопытному квартиросдатчику сложно по одному виду определить: станет ли постоялец свет за собой выключать в туалете, много ли спичек изведет, любит ли телевизор смотреть, аккуратный, простой ли... Бывает, стакан чая тебе жилец не нальет!

— Я сама-то так люблю,— обстоятельно рассказывала она.— Сажусь завтракать и их зову. Сахару у кого нет, хлеба — бери, что считаться-то? Завтра отдашь, купишь.

Молодожены приглашали ее к столу, она охотно принимала приглашения. Отправляясь за продуктами, я всегда спрашивала, не нужно ли ей чего-нибудь в магазине. Тетя Глаша искренне поражалась, когда видела доброе к себе отношение, и сердечно говорила:

— А вот за это спасибо! Дай вам бог здоровья!

Для меня находила и вовсе задушевные слова:

— А ты хорошая невестка будешь, уважительная. Я все думаю: заболею, кто ухаживать станет? Сын себе завел одну, я не разрешаю им приходить. Она уж ходила замуж. А ко мне вот сколько сватались после развода, я всем отказала. Муж один должен быть. Сватались, да-а: на деньги зарятся. Думают, у меня много, дураки. Сын тоже: «Куда ты их деваешь?» И уж какие у меня деньги... У тебя, к примеру, какая зарплата? Давай я тебя с сыном познакомлю.

Мой ответ ее охладил. Но еще раза два тетя Глаша начинала разговор о знакомстве с сыном...

— А ты и мои туфли вымыла? Исполнительная какая, чистоплотная. Помогаешь мне...

— Разве соседи никогда вам не помогали?

— Нет, и не хочу. Чем выше забор, тем сосед лучше. Одна живу, кто позвонит — не открываю. Вот уж, может, соберусь на Москву обменяться. У меня там сестра, два брата. И то, пора собираться вместе, скоро помирать начнем...

Излюбленной же темой бесед тети Глаши было сватовство. Она принесла нам с Таней газетку с брачными объявлениями и с интересом слушала наши замечания. А потом начинала рассказывать о своих ухажерах. Особенно часто вспоминала какого-то старичка пенсионера и еще одного, видного хлопца, начальника цеха ремонтных мастерских.

Старичок был самостоятельный, получал

приличную пенсию да к тому же работал киоскером, газеты продавал. Но, по слухам, скупился и на еду, и на одежду. Еще и к тети Глашиным деньгам небось примеривался. Как же! Да не нравился, и все тут.

Вот через газету по объявлению сватался один пожилой такой же к женщине из соседнего дома. С виду ничего особенного, в сереньком пиджачке, лысоватый. Встретились так они раза три, он и говорит, мол, пенсия у меня небольшая, и у тебя есть, станем потихоньку доживать век. Женщина эта обдумала все, что ж, ладно, пусть небольшая пенсия, зато человек вроде неплохой. Согласилась. Приезжает он за ней, в загс забирать,— на черной «Волге», в костюме, с красными розами. Оказалось, бывший генерал. Ей даже «скорую помощь» вызывали.

Ну, не в деньгах счастье, конечно. Киоскер тете Глаше не по душе пришелся. Зато второй, начальник, был всем хорош: кудрявый, черный, хоть и лет пятидесяти, да без этой сивости в волосах, высокий. Видный мужчина. Долго уговаривал тетю Глашу идти замуж...

В следующий раз высокий, кудрявый и черный поклонник оказывался главным механиком таксомоторного парка, а потом в тех же красках изображался директор гарантийной мастерской по ремонту телевизоров. Разница между ними была в том, что один делал предложение четыре раза, другой — бессчетно, каждый день, а третий, как ему тетя Глаша отказала, так и пропал. То ли квартиру обменял на другой район, то ли уехал из города.

Нравилось ей расспрашивать жильцов о том, о сем. С молодоженами она вела такие речи:

— У вас и машина небось есть?

— Нет. Откуда? Я закройщица. Сережа милиционер.

— А здесь глянь: и во дворе, и в гараже, и под окнами — воруют все, вот и покупают.

Город она не любила. Признавалась, что тянет в Россию. Если б не муж, никогда бы сюда не переехала. А сейчас уже и сыновья тут осели. Один женат, дети есть. Второй беспутный, никак его не пристроишь.

— До войны-то как было: городские — и те скотину держали. Утром хочешь поспать подольше, а на улицах молочницы кричат вовсю: «Молока на-адо? Молока на-адо?» Пончики на каждом углу продавали какие! Прямо плавали в масле. В бумажку тебе завернут два — и сыта до обеда.

Увидев однажды у Тани в руке книгу, серьезно и веско сказала:

— Я тоже как-то написала стихи. Очень жизненные получились. Женщинам читала, так некоторые плакали. Все про себя написала: и как с мужем повстречалась, и как дело было... А потом отослала ему письмо в Киев, так жена его вторая звонила. Говорит, что вы от него хотите? Вы с ним прожили двенадцать лет, а мы — двадцать. Я даже заболела после этого.

Мы с Таней с сочувствием переглядывались...

На следующий день, провожая нас, тетя Глаша предупредила, чтобы мы перед приходом позвонили по телефону, а то она уйдет. Жильцов искать надо, мы-то скоро съезжаем!

И в самом деле, вечером на кухне уже сидела немолодая стеснительная женщина, приехавшая в командировку на три дня. Она неловко посмеивалась, выслушивая откровения тети Глаши, ну а нам было не привыкать — мы устроились вокруг стола пить чай, а женщина ушла на свою раскладушку.

— Вот расскажу вам про мужа своего,— с середины приступила тетя Глаша. Как человек благодарный, она не могла молча есть чужой хлеб с маслом и сопровождала ужин откровенными историями. Сережа, допив чай, удалился, и тетя Глаша продолжила: — Это я сейчас хожу плохо, а прежде я знаете какая была! Полгородка могла обежать. И вот сказали мне, что у него женщина появилась. Знала я только, что у нее квартира двухкомнатная и что работает продавщицей. И я нашла ее!

— Зачем?— с удивлением спросила грубоватая Таня. От чая ее лицо немного лоснилось, и после дня, наполненного новыми впечатлениями, глаза устало слипались.

— Как «зачем»? Чтоб не отбрехался!— с гордостью пояснила тетя Глаша.— В одном магазине поспрашиваю, в другом, есть ли у них одинокие женщины с двухкомнатной квартирой. Ну, значит, указали мне один дом. Ничего больше не знала. Захожу в подъезд. И как толкнули меня — первый этаж прошла, второй. А на третьем дай, думаю, позвоню. Нажимаю на кнопку. Тут из соседней двери выглядывает рыжая такая женщина и спрашивает: «Вам кого?» Я, конечно, чужую фамилию назвала и жду, что будет. «Не живут такие»,— говорит.

Я спускаюсь, а она опять выглядывает, смотрит на меня. Подозрительно мне это показалось. Они такие, паскудницы, чем рыжее, тем дорожее... Вот я встала у окна на втором этаже, жду. И точно. Получаса не прошло — подъезжает такси, и он за рулем. (Он у меня таксистом был.)

Я ключи в варежку положила, иду навстречу. У самого входа ка-а-ак стукну его по лицу! Кровью залился. Повернулся, ничего не сказал, сел в машину и уехал.

Вечером пришел домой, говорит: давай на развод подадим. Я против была, а он уперся: развод да развод. И развелись. Он сразу в Киев уехал. Женился там скоро.

Таня с шумом отодвинула стул и стала собирать чашки. Всем своим видом она показывала, что от разговора устала и хочет отдохнуть. А когда обиженная тетя Глаша вышла, с отчаянием выговорила:

— Зачем она все это? Тоска от нее. Про тебя за глаза тоже... Говорит, ты Сережу уведешь будто. Не верь, говорит, никому!

— Я? Уведу?!

— Говорит, все только с виду добрые...

— Я?! С Сережей?..

— Это она так говорит,— оправдывалась Таня.— Я ж и не думала даже, не обращай внимания...

На другой день тетя Глаша за завтраком стала туманно объяснять, что жильцы ее любят, потому как не только пользуются комнатами, но и готовят на плите, берут ее посуду. Поэтому останавливаются у нее и в следующие приезды. И обычно делают подарки, когда уезжают. Сережа поперхнулся чаем, а Та-

ня торопливо перевела разговор на другое.

Мы вышли опять вместе. Надо было купить билеты на вокзале.

— Что она там... про подарки?— хмуро спросил Сережа.— Намекала, что ли?

— Подарки ей!— ахнула Таня.— Ты сколько денег отдал за эту конуру несчастную?!

— Да ладно,— отмахнулся Сережа,— не обедняем. Пусть...

Личная жизнь

Хорошее настроение сохранилось у Марины со вчерашнего дня, потому что в гремящем новеньком трамвае, когда она возвращалась с работы, на нее смотрел какой-то довольно интересный парень. Не без печати на челе, не без мысли в глазах... Оглянувшись уже на улице, Марина различила его лицо за трамвайным стеклом.

Марина тут же наметила тему для газетной рубрики — «Разрешите познакомиться». Вот какую идею положить бы в основу первой заметки: внутренний мир современного интеллигентного человека стал таким сложным, что существенно мешает общению. (Как можно вмешиваться в чужую жизнь, когда и там тоже свои проблемы, свой опыт, тонкие переживания, память...) Уж Марине-то есть что обобщить. Сколько раз срывалось у нее знакомство из-за робости мужчин! Ну, спасибо парню, что хоть просто смотреть отважился. Марина снова почувствовала себя юной и самонадеянной, как бывало, когда в нее влюблялись постоянно.

Сейчас, в двадцать девять, рой поклонников значительно поредел, а последний серьезный роман завершился зимой, два года назад.

Однако зачем комплексовать? Можно сделать выбор из тех, кто оставался рядом, если уж пройдет пора надежд. Главное — все силы отдать работе, а уж что останется — семье. Марину так учили.

У возраста свои преимущества. Приобретаешь вкус, манеры, умение вести беседу...

Стеклянные двери редакционного здания открывались легко, но Марина приостановилась, чтобы оглядеть свою фигурку в вельветовых брюках и белой, расшитой красными цветами кофте из марлевки (приобретаешь умение одеваться).

Главное, при каждом удобном случае повторять, что в жизни все замечательно. Тогда появляются радость и уверенность.

На пятом этаже, отведенном под редакцию молодежной газеты, было еще пусто.

«Пипл» заявится только через двадцать минут»,— подумала Марина. Она прибегала иногда к иностранным словам, и это звучало занятно для окружающих:

— Я ответила редактору: «Если вы хотите, могу сесть только на информацию, силь ву пле, но кто сделает к субботе полосу «Он и она»?

Ох уж эта полоска! Полоса жизни... Марина специально пришла пораньше, чтобы свежим глазом просмотреть свой центральный материал, чего-то в нем не хватало. Всю ночь проворочалась с боку на бок — бессонница напала из-за этой заметки. Да еще осталось место строк на шестьдесят, когда страницу сма-

кетировали. Надо перерыть письма в папке, заткнуть «дыру».

— Привет, Марина!— заглянула в двери Валя из отдела комсомольской жизни.— С утра трудишься?

— У меня послезавтра полоса идет,— пояснила Марина. Она знала, что у Вали творческий застой и, кроме информаций на сельскохозяйственные темы, ничего пока у нее не получается. О себе Валя говорила, что она ленива до самозабвения, трудолюбива по принуждению.

— Иди послушай. Хорошее я нашла письмо?

Валя со вздохом уселась за соседний стол в маленьком, аскетично убранном кабинете.

Письмо пришло от пятнадцатилетней девочки из небольшого районного городка. Ей хотелось узнать, правильно ли она поступила: задумала проверить чувства «своего парня», с которым «гуляла», соврала ему, что у нее есть другой. Сначала парень ударил ее по щеке, а потом догнал и просил прощения.

— Вот! Самое интересное,— предупредила Марина скучающую Валю, пропустив несколько строк,— слушай: «Пожалуйста, ответьте мне: или я — дура, или он — тряпка. Я два года выписываю вашу газету, и мне в ней все нравится, особенно «музыкальные встречи», где вы печатаете песни».

Валя иронично посмотрела на приготовленное к печати письмо и рассудительно сказала, что в пятнадцать лет любят вешать ярлыки — это придает миру подростка устойчивость.

— Ты сама-то что ей напишешь? Напиши, что она дура, как она и просит.

Но Марину не так легко было сбить с толку. Она относилась с энтузиазмом к новому течению, бурлящему теперь на страницах молодежных изданий. Да-да, и пятнадцатилетние девочки должны серьезнее относиться к проблемам личной жизни.

Валя же скептически воспринимала публичные обсуждения подробностей и тайн интимного плана, все эти бракоустроительные дела. Она считала Маринкину страницу развлекательным уголком вроде субботнего кроссворда.

Сама Валя давно перешагнула за тридцать и уже не верила ни в счастливую неожиданность, ни в помощь всесильной прессы. Когда-то в институте Валя встречалась с однокурсником, однако после полутора лет надежных и трогательных отношений он женился на бездарной смазливой девице и увез ее с собой в Сибирь. Валя знала, что у них родился больной ребенок, и ко дню рождения посылала мальчишке красивые детские книги.

Кстати, способностей у нее было в десять раз больше, чем у них обоих. Вот внешность подвела. И после горьких переживаний Валя решила поставить крест на мечте о семье, сказав, что женские роли — не для нее.

Зато уж если Валю брала за живое какая-нибудь тема, она умела выдавать такие очерки, что редактор скрепя сердце выписывал ей гонорар по высшему тарифу.

Конечно, думала Марина грустно, у нее способности не такие, зато она каждый день, размышляя в своих заметках, приносит маленькую пользу — ведь от нее ждут совета. Разве не достойное занятие помогать каждый день хоть одному человеку разобраться в жизни?

Стоит ему только все объяснить, и решение к нему придет. И Марина относилась к своей странице со всей серьезностью.

Вот недавно она мирила невестку и свекровь. Молодая хозяйка считала, что белье должно сушиться с изнанки, чтобы не пачкалось пылью. А мать мужа — что с лицевой стороны. Сама Марина, правда, никогда не была замужем. Но на газетной странице свела концы с концами, объяснив, что не правы обе. Сама она, признаться, носила белье в прачечную. Но разве дело в белье? Важно найти общее решение. А какое тут может быть общее решение? Конечно, уступки, желание жить в мире. На каждой странице «Он и она» Марина страстно пропагандировала мысль о взаимопонимании и уступчивости.

И упрямо твердила себе, что если уж не она, то никто не поможет. Пусть это необъективная позиция — преувеличивать свои возможности или значительность цели, но это дает веру, которая создает перевес между созерцанием и поступком. Так считала Марина, отстукивая на машинке комментарий к письму пятнадцатилетней девочки.

За стеной кричала Катя:

— Алло! Это райком? Вы сводку приготовили? Не успели? Вот теперь сами звоните нам! Если до двенадцати не будет звонка, я буду говорить с вашим первым секретарем!

Потом Катя набрала другой номер телефона и совсем иным тоном, игривым и ласковым, заговорила:

— Это второй секретарь? Конечно, узнала, Саша! Не готова еще сводочка? Ну хорошо, я перезвоню около двенадцати... Ты мне снился

сегодня. Не знаю, к добру или к худу. К добру? Ну, верю тебе, как всегда! И надеюсь. В крайнем случае звоните сами после двух.

Катя была неудачницей. Четыре раза поступала в университет и проваливала каждую осень один из экзаменов. И у Марины возникло подозрение, что ей просто хочется побродить по Москве во время вступительной сессии, пообщаться в шумном Доме аспиранта и студента, отдохнуть от родного коллектива...

А может быть, и найти судьбу? Слушая разговоры, вызванные полосой «Он и она», Катя печально признавалась:

— Меня на работе никто как женщину не воспринимает. Придешь к нему брать интервью, пугается, зашнуровывается в корсет: с журналисткой разговаривает! Вот сама возьму и напишу в «Литературную газету»— что делать? И худоба меня подводит еще!

У Марины на столе затрезвонил телефон. Девичий голос смущенно интересовался: состоится ли вечером заседание клуба «тихих девушек». Марина удивилась и ответила: естественно, мол, а почему бы ему не быть? Но через полчаса другим голосом спросили о том же. И Марина забеспокоилась.

Это была ее выдумка. Сначала опубликовали письмо, где скромная девушка откровенно сетовала на свою «ограниченность и невостребованность»,— сейчас такими, как она, не интересуются. Она тихая, не курит, не ругается, любит вязать и шить, любит толстые книги. А как же ей заводить знакомства, если современные танцы ей не по душе и в походы она не ходит?

Взволнованная Марина пришла с этим пись-

мом к редактору и объяснила свой план спасения «тихих девушек». Надо их объединить в клуб. Пусть себе тихо сидят, вяжут, слушают камерную музыку. И к ним, например, привести на «посиделки» взвод курсантов пожарного училища, чтобы тоже тихо послушали камерную музыку и познакомились с «тихими девушками».

Редактор был женатым степенным человеком, обремененным двумя детьми и тещей. Он утомленно выслушал Марину и дал ей «добро». Он знал, что Марина из энтузиастов. Ее честолюбие согревалось мечтой перейти когда-нибудь в штат республиканской газеты. Все-таки и для женщины карьера кое-что значит. Вот пусть она сама этим и займется, если ее поддержат дирекция заводского Дома культуры и комитет комсомола.

В ближайшем номере на полосе «Он и она» радостная Марина дала объявление о первом заседании такого клуба. В программе был документальный фильм об искусстве составления букетов, беседа кулинара «Как приготовить обед за академический час» и выступление солистки театра музкомедии. Билеты распространял комитет комсомола. На первое заседание пришли пятьдесят разодетых в кримплен и бархат, парчу и гипюр «тихих девушек». На лицах у некоторых застыла вполне осознанная кротость — это отдавало ханжеством. Марина ужаснулась, решила пригласить на следующую встречу модельера и тут же побежала в кабинет директора искать в телефонном справочнике номер Дома мод. Она не любила откладывать на завтра даже то, что можно сделать послезавтра.

К моменту выхода на сцену солистки музкомедии явились и юноши — студенты энергетического института... Вечер удался. Марина была звездой номер один. Она всех перезнакомила, она брала интервью и потом поместила их в воскресном номере. Затем дни заполнились непрерывными телефонными звонками. Звонили «тихие девушки» со всего города. Отдельно. И организованно. Они требовали билеты, угрожали Марине жалобами в вышестоящие инстанции и ругали полосу «Он и она» за саморекламу.

Марина отпросилась у редактора и потратила день на то, чтобы организовать второй вечер с привлечением значительно больших сил, с хорошим залом. Не очередь же создавать у дверей.

Теперь заготовили восемьсот билетов, пригласили передовой батальон из подшефной части. Разработали новую программу.

— А кто станет отвечать за порядок?— беспокойно спрашивал Марину директор.

— Не волнуйтесь,— энергично успокаивала его Марина.— Военные — дисциплинированные товарищи, сами понимаете. А девушки — тихие, нас не подведут.

Закончив печатать комментарий к письму, Марина постучала в стенку Кате. Та откликнулась:

— Войдите!

— Лучше вы войдите,— крикнула Марина.— Осчастливить тебя хочу.

Катя сейчас же возникла в дверях и с высоты своего значительного роста с любопытством глянула на стол Марины. На нем ничего вкусного не лежало.

— Чем ты собираешься осчастливить?— разочарованно спросила Катя, делая шаг назад.

У Кати продолговатое, чистенькое лицо, однако низко очерченные подглазины придавали ему усталое выражение. А молодость украшена беспечностью. Или хотя бы доверчивостью... Катя с подглазинами боролась, но безуспешно.

— Хочешь познакомиться с хорошим парнем?— тоном старшей сказала Марина.

— А бывают хорошие?— с деланным равнодушем спросила Катя, однако тотчас вошла в кабинет и прикрыла дверь.

Марина позвала ее с собой на вечер «тихих девушек», и Катя радостно согласилась. Правда, у нее оставались кое-какие сомнения: выглядит ли она на «тихую», ведь она точно не знала, как те сейчас себя ведут.

— У тебя такая тема!— льстиво сказала Катя, желая как-нибудь отблагодарить Марину.— Тебе отчего ж знакомства не заводить? На «культуре» сидишь. А меня только как журналистку принимают...

— Ну-у,— лукаво соглашалась Марина.— В чужих руках все лучше.

Не сознаваться же было, что после «тихого» вечера саму ее никто не догадался проводить. Тогда ей оставалось тихо радоваться, глядя на тех, кто уходил парами...

Вестибюль Дворца культуры встретил их жужжанием и гудением высоких голосов. Кто-то узнал Марину и бросился к ней с криком:

— Кино мы и по телевизору увидим, пусть деньги за билеты возвращают!

Пробираясь через толпу, Марина растерянно крутила головой и деликатно улыбалась. А Катя выхватила из толпы кричащую девицу, за рукав притянув ее к себе:

— Вы, девушка, объясните...

Тогда их окружили, загомонили сразу пятеро:

— Не видели мы ваших фильмов! Нахальство какое!

— Кто это руки греет на чужом несчастье? Еще и в газете пишут...

— Нас не проведешь...

Марина молча проталкивалась к дежурному администратору, но если бы не Катя, им бы не выбраться из плотного кольца. Катя отбивалась на ходу:

— Сейчас все выяснится. Видите — я же не кричу. Я скромная девушка. Надо подождать, и все.

Администратор испуганно зашептал Марине, что недавно здесь был полковник, извинился и просил перенести встречу. Батальон на пути к Дому культуры повернули по учебной тревоге, и солдаты срочно уехали в летние лагеря... Надо возвращать билеты, а из этой суммы уже заплачено филармонии...

Марина и Катя едва выбрались на улицу через служебный ход. Они долго шли молча, и, когда расставались, Марина спросила, с какой стороны Катя сушит белье.

Для Марины так и осталось загадкой, когда же «тихие девушки» успели оповестить все вышестоящие организации — оттуда звонили редактору и строгими голосами требовали,

приказывали, рекомендовали, настаивали, журили...

— Это недоразумение,— с улыбкой пыталась объясниться «на ковре» побледневшая Марина.— Бывают же и в нашем деле накладки...

Разговор то и дело прерывали звонки, и редактор говорил обрывками:

— ...Тогда не вертитесь... Хватит с нас накладок, которые проникают на страницы газеты!

Он намекал на ошибку, допущенную Мариной в одном из недавних номеров.

Марина сменила тактику и с тихим укором сказала:

— Вам хорошо, Виталий Степанович! Вы уже устроены. А какая может быть работоспособность, когда у каждого сотрудника личная жизнь не ладится? Вот и «тихим девушкам» кто-то должен же помочь.

Как раз этого не надо было говорить! Редактор зашумел, разгорячился: у него не благотворительное общество, перед ним другие задачи. А Марина пусть пишет объяснительную записку в шести экземплярах, во-первых. Во-вторых, передает свой «женский клуб» куда угодно, хоть в собес. В-третьих, пусть срочно едет в пионерский лагерь — горит материал для спортивной странички.

Марина хотела возразить, что спорт не ее тема, да язык не повернулся. Видно, что редактор для того и провел артподготовку — возражения были неуместны.

Расстроенная до слез Марина вернулась в свой кабинет, попросила написать объяснение вчерашнему, разложив вину поровну на

работников Дома культуры, на командира передового батальона, на комитет комсомола, но слог получался вялым.

Она вынула из ящика письменного стола и бросила в сумочку губную помаду коричневого цвета. Поколебавшись, взяла и заветный блокнот, куда записывала свежие самостоятельные мысли для заметок о любви и браке. Иногда в день приходило в голову целые две мысли! А в дороге случайные впечатления освежают, и могут родиться неожиданные записи.

В конце концов там хоть настоящим воздухом подышишь!

Через полчаса езды на пригородном автобусе она очутилась возле указателя «до п/л «Буревестник» 0,5 км». Год назад она ездила в этот лагерь, и ей там понравилось.

Так же бежали две тропинки рядом с узким асфальтовым шоссе. Вдоль них тут и там рос подорожник. Слышались одинокие сонные вскрики пичуг, наверное, наработались с утра и устроили себе тихий час.

На тропке солнце палило меньше, и Марина, прислонившись к дереву, достала блокнот, записала: «Опосредованное общение. Не замыкаться друг на друге, чаще бывать за городом, в гостях, на людях». Потом заставила себя думать о будущей спортивной статье и сочинила для нее первую фразу: «В этот день открылись две олимпиады. Об одной, Московской, знал весь мир. Другая стала событием для пионеров «Буревестника».

Оставалось взять фамилии лучших спорт-

сменов, добавить несколько трогательных подробностей соревнований: например, двое ребят весь вечер упорно прыгают в длину, чтобы завтра не подвести отряд во время «Веселых стартов». Еще пригодилась бы, пожалуй, биография физрука, бывшего чемпиона по бегу или метанию, а теперь возлагающего все надежды на молодую спортивную поросль...

У входа на территорию лагеря строились октябрята. Их вожатая рассказала Марине, что начальник уехал в город, что вечером для нее найдется попутный транспорт — автобус повезет ребят в цирк, а физрука нужно искать во втором отряде. Марина воодушевилась и зашагала дальше.

Физруком оказался студент педагогического института. Ничего, симпатичный. («Но молодой»,— со вздохом отметила про себя Марина.) Держался он поначалу смущенно, хотя Марина и не теряла надежды разговорить его.

Впрочем, заметка уже вырисовывалась. Требовалось только внести «поправку на факт». Веселые старты действительно проходили в лагере в день открытия олимпиады. Хорошие спортсмены в старших отрядах имелись...

В середине разговора, который они вели, сидя на скамье в тени перед павильоном, к ним подошла воспитательница и сухо поздоровалась. Удивленная Марина поняла, что воспитательнице не по вкусу их присутствие на территории отряда, да и физрук как-то растерялся, замкнулся окончательно. Хмурая воспитательница демонстративно встала рядом с парнем и, видимо, не собиралась ни уходить, ни

разговаривать. Марина попробовала втянуть ее в беседу, но та, ответив неприязненно и односложно, зачем-то отозвала физрука, и он, извинившись, куда-то ушел. Наверное, по ее поручению.

Озадаченная и раздосадованная Марина сначала сидела в одиночестве, потом позвала пробегавших мимо ребят, поговорила с ними о ежедневных соревнованиях по волейболу и, недоумевая, отправилась на поиски физрука.

Поблизости его не оказалось. В пионерской комнате хмурая воспитательница, чем-то похожая на «тихих девушек», разрисовывала дневник отряда карандашами. Марина ощутила непонятную робость, но заставила себя спросить, куда ушел физрук.

— Вы не знаете?— Это прозвучало у нее почти виновато и заискивающе.

Воспитательница решительно вскинула голову, и Марина отметила, что один глаз у нее слегка косит. Она уже вознамерилась пожалеть ее про себя, но та грубо сказала:

— Я-то зна-аю! Я — его жена. А вы кто?

Тут только до Марины дошла нелепость создавшейся ситуации. Она, скрывая раздражение, вытащила командировочное удостоверение и представилась. И воспитательница как-то нехотя, сквозь зубы, бросила:

— На речке он...

Уточнять, где именно, показалось Марине чрезмерным нахальством. Радуясь восстановлению порядка, она поспешно вылетела за дверь.

Мальчишки показали ей, в какой стороне речка. На полпути она остановилась возле скамейки под деревянным мухомором и за-

писала в блокнот: «Ревность там, где нет ясности отношений. Я ей все объяснила — и она поняла... Ее неуверенность в себе — от дефекта внешности...»

Марине уже виделась заметка — отклик на письмо. Правда, от ревнивых жен писем пока не приходило, но, используя сегодняшнюю ситуацию, его можно было сочинить.

Физрук стоял к Марине спиной. Он удил рыбу. Совершенно ясно было, что ему не хотелось возвращаться к журналистке, наверное, он радовался вмешательству жены. Марина почувствовала себя виноватой, ненужной здесь, озлилась на редактора и свою скверную работу, вынуждающую к общению, и сказала вкрадчиво:

— Я вас ненадолго отвлеку. Вы, пожалуйста, ловите вашу рыбу. У меня осталось два-три вопроса.

Физрук испуганно взглянул на нее, потом в сторону лагеря, покорно кивнул и снова повернулся к реке.

Так они и разговаривали: Марина с блокнотом чуть поодаль, физрук у самой воды, с удочкой.

Над речкой носились стрекозы, как бы подчеркивая неуместность деловой встречи. От поплавка мирно, по-дачному, плыли круги. Марина вдруг почувствовала, что на нее кто-то смотрит, быстро оглянулась — в трех шагах стояла хмурая воспитательница и упорно разглядывала их обоих. Подошла она неслышно.

— Послушайте,— резко сказала воспитательница,— что вам нужно? Что вы за ним все ходите? Преследуете его!

Обескураженная Марина опять что-то пробормотала о командировке.

— Ну так и разговаривали бы со старшей пионервожатой или с начальником лагеря, а почему вы ходите именно за моим мужем? Зачем вы его преследуете?

Физрук меж тем покорно смотал удочки и побрел восвояси.

— Да где вы росли?— наконец нашла в себе силы возмутиться Марина.— Кто вас воспитывал? Вы думаете, я для того в командировки езжу? Как вы с детьми-то работаете?

Воспитательница на минуту смутилась, очевидно предположив в Марине порядочную женщину, но тут же в оправдание сказала, что за мужем своим уже замечала такие мимолетные увлечения, а Марина — человек ей неизвестный...

Та ожесточенно засовывала блокнот, который никак не лез в сумку.

— К черту такие интервью, не нужно мне никакого вашего автобуса — пешком дойду!

Воспитательница заметно обрадовалась. Она продолжала что-то говорить о муже, но Марина быстро зашагала к шоссе.

На другой день она сидела за своим рабочим столом в редакции, листала блокнот, заполненный почти целиком, и с недоумением вспоминала вчерашнюю историю, пионерлагерь, разговор с редактором. Потом вспомнила парня, что смотрел на нее в трамвае, «тихих девушек»...

Слышны были крики Кати за стеной:

— Это райком? Сводочку давайте. Опять не успели?

Марина отложила блокнот в сторону и принялась перебирать почту. Вскрыла конверт, помеченный девизом «Он и она», и пробежала взглядом по строчкам. Школьным почерком было написано:

«Дорогая редакция!

Мне очень нравится ваша хорошая газета. Особенно статьи на тему семьи и брака и еще «Музыкальные встречи». Недавно я познакомилась с одним парнем из нашего техникума. А мама считает, что в шестнадцать лет нам встречаться совсем рано. Напишите, пожалуйста, срочно, с какого возраста разрешается дружить с юношей. Если можно, пришлите ответ «до востребования». С уважением, Наташа Коврова, ваша постоянная читательница».

Марина задумалась, посмотрела в окно, постаралась поставить себя на место шестнадцатилетней студентки, но не получилось. И все же, положив перед собой лист чистой бумаги, она с чувством ответственности перед поставленной задачей принялась за ответ.

Три мешка хлорки

Это подруги-медички из нашей областной больницы растолковали мне мое бесперспективное жилищное положение.

— Да-а, тяжело тебе, конечно, с родителями!

— Нет, нормально.

— Что ж, ты до пенсии собираешься с ними жить?— беззастенчиво спрашивали подруги, не обращая внимания на интерес наших «стариков», которые тоже устроили английский завтрак (второй по счету после домашнего) за соседним шатким столиком в ординаторской.

«Стариков» в нашем отделении патологии недоношенных детей было пятеро. Они всегда прислушивались к нашим разговорам, у всех были дети такого же возраста, как мы, или чуть старше; «старики», конечно, подрабатывали еще на полставки и почти не знали, что творится в их собственных домах.

— Хочешь всю жизнь провести с родителями?

— Почему?— лениво отбивалась я.— Н-не знаю... Что-то там будет.

— Где будет?

— Ну там... В будущем!

— А-а,— вздыхали и переглядывались мои сверстницы.

Они вдвоем жили в новой девятиэтажке для медсестер. Про наш возраст ничего не скажу, разве что: его пора уже скрывать. После института, интернатуры минуло три года ожиданий, и квартирный вопрос предстал перед нами с неотвратимостью зубной боли. Он обсуждался постоянно.

Утром все мы торопливо прибегали к «своим» детям с криком-паролем дежурному врачу:

— Все живы?

— Ночью еле-еле Стремина вытянула,— равнодушно отвечала дежурная, умываясь над раковиной в ординаторской.— Дышала за него целый час.

Двое-трое шли смотреть на Стремина, который лежал в стеклянном ящике и не просыпался теперь после тревожной ночи, даже когда его вертели-мяли на пеленальном столе. Мнения высказывать коллеги не спешили. Задумчиво возвращались к вокзальной суете ординаторской, молчали, пока кто-то из «стариков» обычно не ронял первое замечание:

— Мне показалось, он слегка подсушенный.

— Мне тоже,— соглашался второй.— Давайте отменять лазикс. Света, запиши в истории.

И все так основательно, без обычной для женского коллектива нервозности, без подначки. Век бы не уходила от таких людей. Да мне ли говорить — уже пыталась, когда минули те самые три года.

Но это другая история.

В одиннадцать часов все усаживались завтракать: вынимали свертки бутербродов, сало с черным пахучим хлебом. Настаивали в больничном чайнике заварку, брали в детской палате бутылочку с концентрированной глюкозой.

— Вот к тебе хорошо родители относятся. Семья из благополучных, верно?— энергично начинала Галя Кузьменко. Она не раз бывала у нас дома, а со стороны всегда виднее.

— Если не считать, что в каждом чулане спрятан свой скелет. Это я не о своих чуланах, это англичане говорят.

— Брось ты свою книжную заумь с англичанами и скелетами! — подхватывал кто-то из «стариков».— Тебе серьезные вещи советуют. Вот скажи, осилите кооператив?

— Зачем?

— Батюшка ты мой!— всплескивала руками интеллигентная Жозефина Кондратьевна. Любила наша заведующая живые народные обороты вроде: «Однова живем!»— О судьбе своей пора подумать! Ладно, Галине со Светой никто не поможет, а твой-то отец...

— Он же тебя любит,— робко бросала свой камень и Света.

— Да не стану я просить. Я и на карманные-то расходы никогда не брала.

В самом деле это невозможно. «Не желаю больше проживать с вами под одной крышей». Не переживут... Единственная дочь...

— Эх, Светка!— зажигательно говорила нашей тихой подруге Галя (в институте Галя была старостой курса, и теперь организаторские способности не давали ей покоя).— А правда, уедем все трое! В ординатуру поступим, в столице поживем. Там много... хорошего. Или в Сибирь, на стройку!

Мямля Света, домашняя, рыженькая, с тихой улыбкой кивала, и было ясно, что никуда она ни за что не поедет.

Вечером Галя бежала в библиотеку, пока Света готовила ужин, брала стопку книг и заставляла Свету искать нужные сведения для лечения какого-нибудь неясного пациента.

— Читай! Я тоже законспектирую — в аспирантуре все это пригодится.

Решительная, размашистая, Галя и со знакомыми парнями держалась как будущий администратор областного ранга. И Свету оттирала от них властным плечом.

— На что он тебе сдался?— ревниво говорила она подруге.— По нему ж сразу видно, что ни диплома, ни угла своего. Ни ума, ни вооб-

ражения. С ним семьи не построишь. А сейчас знаешь какое отношение к карьере женской? Это все забрось и по локоть — в работу. Нет, если муж не обеспечит, то никакой тебе аспирантуры. Стиркой да кухней ограничь свой научный кругозор.

А я думала, нужна ли аспирантура Свете? Но по робости вслух спросить не решалась.

И вдруг обстоятельства сложились так, что мне самой захотелось уехать все равно куда, только побыстрее и подальше. В молчании «стариков» чувствовалась враждебность, в отстраненности подруг — тайное облегчение (не с ними случилось) и угнетенность (еще случится).

Жозефина пока ограничилась сухим пожеланием видеть меня на патологоанатомической конференции, где будет разбираться и мой случай.

Через два дня после мучительного разбора я объявила во время завтрака в ординаторской:

— Наверное, к тетке поеду. Там своего института нет, врачей не хватает. И с жильем проще.

Все перестали жевать. Галя перевела взгляд на «стариков» и толкнула меня ногой под столом. А Жозефина Кондратьевна подтянулась, приняла достойный вид и бюрократическим голосом сказала:

— Ты не горячись, мы все через это прошли. У каждого врача свое кладбище. Особой вины на тебе нет. С родителями ребенка я уже говорила. А тебе надо читать больше, учиться. Врач всегда учится.

Я представила себе свое, пока маленькое, кладбище с одинокой могилкой.

— Я не потому хочу ехать,— с усилием сказала я.— Вы ж сами советовали, Жозефина Кондратьевна. И о будущем надо думать. Смотрите, какая у нас патология идет от старородящих матерей. А получу квартиру, ребенка заведу.

«Старики» наши, конечно, разохались, стали приводить примеры из своей медицинской практики, призывая нас со Светой и Галей не шутить такими вещами, не спешить, не терять надежды на личное счастье. Жозефина слушала, зажав красивый рот стерильной ладошкой и переводя карие глаза с одной на другую.

Из-за работы семей не видят — кто уже в разводе, кто скрывает нелады. Подруга Валентина (вон у окна сидит) испуганно слушает, так и не вышла замуж, воспитывает «отказного» ребенка. А каких трудов стоило ей усыновление!

— Однова живем!— грустно сказала Жозефина Кондратьевна.— Может, она и права. Пусть едет. Не устроится, назад примем.

«Ох,— подумала я.— Ну и ну! Что же это я сделала?»

Страшновато стало. Если мыкать долю — нелегкое занятие, то решиться на «мыканье» во много раз тяжелее.

До этого жизнь дважды загоняла меня в угол. Сначала, когда нужно было выбирать между замужеством (а он — только что получивший дальнее назначение вчерашний курсант) и учебой. И потом, когда захотелось в судовые врачи, в дальние страны, а из дому прислали за мной следом в Таллин телеграмму: «Возвращайся!» Оба раза выбор стоял

между чем-то желанным, заманчивым и деспотизмом любящих родителей.

Ведь и теперь предстояло объяснение с ними! Если эти записки попадутся девушке, которую в детстве за ручку водили в библиотеку, на выставки, в кукольный театр и на каток, она живо представит себе весь ужас предстоящего разговора. Конечно, разница в нашем с ней положении очевидна. Моим преимуществом были и диплом, и стаж работы. О возрасте молчу — всем известно, в глазах родителей это ничтожный аргумент.

Взрослый человек запросто вообразит себе доводы, пригодные для такого разговора. И только та читательница-девушка, которую водили за ручку, прочувствует всю его мучительность, стойкую оборону мамы, запрещенные приемы — упреки в неблагодарности, слезы, запугивания: «Да кто тебя ждет?»

— Но я собираюсь жить в общежитии, пока не дадут жилье.

— Обидеть хочешь тетю Таню?

О, долгая эта борьба, которая заканчивается твоей победой, когда ее уже не желаешь... Сколько раз потом еще моя судьба делала поворот и сердце обливалось малодушным холодом: «Назад! Зачем и от чего я отказываюсь? Не надо!» Но проходил месяц или год, и стиралась в памяти старая колея, и вдруг рождалось понимание, что гусеница старой жизни неожиданно для тебя превратилась в бабочку.

Тетка занимала комнату в коммунальной квартире. Она была рада мне, но с пониманием отнеслась к будущему переезду в общежитие — привыкла жить в покое. Грустная,

бесцветная, в возрасте, она все-таки не производила впечатления пожилой женщины — у нее были сухие чистые черты лица, спокойные манеры и задумчивый голос.

— А там замуж выйдешь,— тихонько приговаривала тетя Таня за чаем. Летом она каждый день отправлялась на базар и выбирала самые лучшие и дешевые ягоды на варенье. Рынок был вообще дешевый. От ее голоса, от запаха лесной земляники и свежего чая становилось на душе спокойно и мирно.— Не выйдешь — так ребеночка родишь.

— Тетя Таня! Вы сговорились все, что ли? Да мама с ума сойдет!

— Не сойдет,— тянет с улыбкой тетка, вздыхает.— Никого не слушай. Я-то вот не решилась после смерти Ванечки, как он в войну помер четырех лет. Муж погиб. Матери-то говорю: «Мама, я другого ребеночка родить хочу!» Она меня и отбила: «Осудят. На миру живем. Думать не смей!» Видишь, как я?.. Хорошо? Живой души рядом нет.

В комнате мерцал экраном телевизор и бродили от дивана к столу две раскормленные пятнистые кошки. Тетка им тоже улыбалась, клала на блюдечко специально купленный холодец. Кошки нюхали и морщились.

— Куда работать-то пойдешь?

И неизвестно для чего я стала рассказывать про областную больницу, про своего умершего пациента, про то, как бывший однокурсник с благой целью утешить рассмеялся над моими переживаниями: «Замогилила дитенка!» Про Свету и Галю.

И вытаскивала из чемодана письмо от подружки, которое получила около года назад

из маленького районного поселка под Архангельском. Подруга писала, что вовремя не отправила в центр больного пневмонией — нетяжелое, казалось, было состояние, а мальчишка возьми и умри ночью. В глаза никто не упрекает, но сразу узнали — поселок-то маленький. Страшно ходить по ночам по улице от больницы до дома. Так и кажется, ляжет на плечо чья-то рука и кто-нибудь из семьи того мальчишки вдруг спросит: «Что ж ты выжидала? Был бы свой, своего-то небось отправила бы?»

Тетка кивнула прибранной русоволосой головой, а потом сказала:

— Ты письмо-то не храни. Что надо, само запомнится. Чего душу травить? А завтра на «Скорую» пойди. Я часто вызываю, у них все фельдшеры, мало врачей. Может, поставят на очередь квартирную.

Утро заливало ее тесную комнатку праздничным сентябрьским светом. Казалось, что жизнь в самом деле можно начинать сначала не раз.

Станция была в центре города между солидными административными зданиями, и, если бы не внутренний дворик, где стояли машины, я бы никогда не подумала, что в этом доме «Скорая помощь».

У дверей на улицу курил мужчина лет сорока в белом помятом халате. Кольцо у него блестело на левой руке. Надо было собрать в кулак свои страхи, перешагнуть через обычное недоверие к чужому человеку и в самых дружелюбных тонах провести осторожную разведку. Хорошо, что ему было скучно. Иначе нечем объяснить его внезапную разговорчи-

вость, откровенность. За три минуты я уже узнала, что врачи — да, нужны, главный, если ему понравиться, может помочь с общежитием. И он, к слову сказать, неплохой человек, умеет разговаривать с сотрудниками.

— Как вы?— с плохо скрытым восхищением уважительно спросила я.

Незнакомец хмыкнул, оглянулся на окна и, несколько понизив голос, рассказал, как Бардин, главный врач, «пробивает» для своих квартиры. В городе ведь еще лет пять назад врачи на «Скорую» работать не шли — дежурства сутками, случаи тяжелые: травмы, сердечные приступы. Даже подстанциями, а их в городе пять, заведовали фельдшеры. Тогда Бардин добился в горздраве разрешения на особую жилищную очередь. И не только для молодых специалистов, но и для прочих врачей, снимающих «углы».

— Как ему удалось?— улыбался коллега.— Такой человек: он даже обругает, накажет, а от него выходят, словно меду наевшись. У кого радикулит, кто сына в армию провожает, где дочка учится — все знает. Ему не постесняешься свое дело десять минут разъяснять. Выслушает, вопросы задаст. А откажет, значит, и правда ничего не выйдет... Где живешь-то?

— У тетки.

— Тетка с семьей! С квартирой?

— Комната, семьи нет.

— А говори, что семья, что не хочешь стеснять. Проси общежитие. Да потом «спасибо» говорить будешь, когда поселят.

На втором этаже перед дверью главного томилось несколько человек. У них был независимый вид. Машинистка сердито печата-

ла что-то и отрывисто отвечала на вопросы.

Я заняла очередь за расстроенным, судя по лицу, пожилым шофером, который громко рассказывал о накладных с бензином, и вышла в коридор сосредоточиться.

У меня есть одна заветная фраза, которая гарантирует успех, но на этот случай она не годилась. Фраза незаменима для одномоментной просьбы. Только произносить ее надо со всей серьезностью и задушевностью. Эх, так и быть, делюсь! Вдруг эти записи попадутся девушке, тоже отправляющейся «в люди». Какой это поэт говаривал: «Пустился я в степь странствий на полудохлой кляче стремления моего?» Делюсь. Сказать надо: «Я пришла к вам с последней надеждой!» Если предположить, что наши рассказы читают и администраторы, можно добавить к задушевной интонации на всякий случай немного отчаянного юмора из категории «не потешился бы, так повесился».

На сей раз фраза не подходила.

А в таких ситуациях приходится рассчитывать на экспромт. Нужно мобилизовать свое радушие, дружелюбие, чтобы от тебя исходили уверенность, безмятежность и счастье. «Побеждайте радостно, и вы победите всех» — это я у индийцев вычитала. И еще: «Научились ли вы радоваться препятствиям?»

Вот так же я стояла перед дверями большого медицинского начальника в Таллине, когда пыталась пойти на корабль судовым врачом. Собиралась с духом — это раз. Поправила на голове модную шляпку-пилотку: пусть видит мои пушистые светлые волосы — это единственное, что во мне есть. Как говорят поляки, «рамка красоты». Жаль, что одна только рам-

ка. Ну и ерунда же лезет в голову, когда волнуешься.

Кстати, таллинский начальник согласился взять меня на работу, но оказалось, что я перепутала кабинеты и вербуют меня в участковые врачи. Пришлось давать «полный назад», говорить про языковой барьер, про то, что в моем возрасте трудно скитаться по общежитиям... А сейчас мне только того и надо! Вот какой поворот.

И чего же я волнуюсь, аж руки холодеют! Так никогда не сосредоточишься.

Мимо прошел красный пристыженный водитель, настала моя очередь стучаться к главному.

Тут ведь что важно — не смысл, а настроение. Даже, можно сказать, устремленность навстречу человеку. Плохо, если он так сразу и понял бы мою устремленность к квартире, к общежитию. Главное — человеческий интерес к другому человеку: и улыбка, и любопытство, с каким ты оглядываешь уютный кабинет, и строй фразы.

— А сейчас вы где остановились? — отечески спрашивает моложавый Бардин. Он еще ничего не обещал. И на «вы» называет — плохо. Нужно продлить наш разговор, чтобы наконец прозвучало:

— Ну, хорошо. Приходи через три дня. Я позвоню кое-кому. Может, придумаем, куда тебя пристроить.

Определеннее мне пока и не надо! Главное — произвести сейчас хорошее впечатление и оставить его при мысли, что я на что-то надеюсь.

По широкой лестнице бывшего купеческого

особняка сновали озабоченные люди в белом, голос принудительной трансляции оповещал:

— Пятая бригада на вызов! Пятая!

И вдруг так захотелось, чтобы все удалось, чтобы и меня звали к кому-то на помощь, вручали адрес больного — и машина с сиреной, с синей мигалкой, и люди на остановках провожают глазами, а смеющиеся на тротуарах замолкают, думают: «Да, мы тут веселимся, а кто-то, видимо, помирает. Коротка жизнь!» И уважают здесь нашего брата, врачей. Не то что в поликлинике...

Через четыре дня Бардин растерянно тер лоб, говоря:

— Понимаешь, докторина моя милая, все нужные люди сейчас на картошке. Никого и не нашел. Может, так сделаем? Ты начнешь работать, а прописку оформим потом. Тетка пока не выгоняет? Идет, согласна?

— Еще бы!

Бардин улыбнулся той обаятельной улыбкой, за которую его так любили, наверное. Улыбка означала: уж мы-то с тобой все прекрасно в жизни понимаем, потому что мы с тобой замечательные люди.

— Елена! — крикнул он в двери.— Зайди, пожалуйста.

Вошла плотненькая хмурая женщина лет тридцати и с независимым видом встала у порога.

— Оформи вот доктора без паспорта пока.

— Зачем мне это надо?— флегматично и стойко отреагировала Елена.— У меня комиссия и так недавно все документы перетрясла. Гоняли, как за растрату. Не положено.

— А... постараться? — попросил главный.

— Даже и не подумаю,— упрямо сказала вредная Елена.

Кажется, мои дела пошатнулись. Бардин, наверное, заметил, что я пала духом, потому что, махнув рукой, отпустил Елену и забормотал:

— Э, ладно. По телефону лица не видно. В последний раз!

Он набрал номер и весело закричал в трубку:

— Андрей Дмитрич! Бардин со «Скорой» беспокоит. Ну, как ревматизм? Путевку бы надо, вы настраивайте своего врача. Андрей Дмитрич, дважды к вам обращался, уж стыдно, честное слово, но в последний раз: найдите, пожалуйста, в своих общежитиях место для моего педиатра. Детей лечить некому. Одиночка, да.

На том конце провода Андрей Дмитриевич, видимо, заговорил находчиво про свой ревматизм и шаткое здоровье жены, потому что Бардин стал обещать ему консультацию знакомого специалиста. И Андрей Дмитриевич повел себя уступчивее. Бардин уже кричал:

— Лучше, конечно, в нашем районе, поближе к работе. Хлорки у вас нет?

Теперь вопрос упирался в какую-то хлорку! Что они там посыпают ею, на стройках? Но, кажется, Андрей Дмитриевич был озабочен не шутя, потому что Бардин прикрыл трубку рукой, стукнул кулаком в стену и крикнул:

— Сколько у нас хлорки на складе?

Хлопнула дверь. Кто-то ответил:

— Килограммов тридцать.

— Андрей Дмитрич!— обрадованно продолжал в трубку Бардин.— Я вам сегодня, сейчас мешок пришлю, а два — через неделю.

Я вас когда-нибудь обманывал? Нет, вы скажите. А-а! И впредь не буду. Добро. Так она зайдет? Спасибо. Ревматизм не запускайте. Надо-надо проконсультироваться. Я позвоню.

И положил трубку.

На следующий день я была с ордером, через неделю приступила к работе.

И началась еще одна новая жизнь.

Пойди туда, неведомо куда...

Алюминиевый саквояж, набитый до отказа, громыхнул, зацепившись за косяк высокой двери Дворца культуры. И хотя доктор не глянул с укором, фельдшер Лудов мысленно выругался. Навстречу уже спешил расстроенный директор Дворца. Он стал торопливо рассказывать то, что они знали от диспетчера: тяжелая травма у актрисы.

— На сцене она, я провожу. И надо же, как не вовремя! — сокрушался он.— Еще три спектакля... А как все хорошо шло!

В прохладном вестибюле матово отсвечивал мрамор, и колонны перед входом в зрительный зал выстраивались в полукруг.

Когда Лудов был помоложе, он приходил сюда. Потом дискотеку заняли подростки, и танцевать здесь солидному человеку казалось зазорным. Теперь на его долю оставался красный уголок в общежитии.

Остролицый взволнованный директор постоянно одергивал полы нового кримпленового пиджака и причитал:

— С начала каникул утренники давали, и

вот тебе! Нарушение техники безопасности! Кому теперь отвечать, а?

Они шли по гулким коридорам мимо боковых дверей зрительного зала.

Толстый, с азиатскими глазами доктор Совкин, слегка задыхаясь, спросил:

— С какой высоты?

— Метра четыре,— ответил директор, словно бы извиняясь.— Она в ступе, по воздуху, за Снегурочкой...

— Метра четыре,— буркнул доктор.

Лудов неприязненно глянул ему в спину. Утром между ними произошла пустяковая, но неприятная ссора из-за приема сумки и лекарств у сменщиков. К доктору Совкину на станции «Скорой помощи» отношение сложилось двойственное: его побаивались, потому что он умел доводить пустяковый конфликт до большой проблемы, и посмеивались над этой занудливостью.

Когда Лудов увидел в графике, с кем работает сегодня, у него упало настроение. С утра этот вызов, в диспетчерской посмеивались, мол, повезло бригаде, в гости к Бабе Яге, обратно на метле вернутся. Нынче-то Баба Яга во Дворце культуры обитает, с точным адресом. Это раньше — пойди туда — не знаю куда...

Из-за кулис Лудов увидел сцену с грубыми картонными декорациями лесной чащи. Высоко над ними был протянут канат, а у края сцены, у избушки на курьих ножках, лежала актриса лет пятидесяти и прикрывала рукой глаза от яркого света.

— Занавес! — зашипел сзади директор.— Не дали занавес!

Механик сцены принялся оправдываться, и тут Лудов понял, что зал полон зрителей младшего школьного возраста. Зрители ждали дальнейших событий.

Думать о детишках было некогда. Совкин, а следом за ним и Лудов с медицинским чемоданом решительно вышли на сцену. Встреченные оживлением в зале, они принялись рассматривать пациентку.

Лудов заметил, что старуха слишком размалевана и ненатурально страшна, но голос оказался молодым.

— Как же это ты, а?— сердито спрашивал Совкин, копаясь в чемодане. Он ко всем больным обращался на «ты».— Как упала?

— На спину,— простонала пострадавшая.

— Горб тебя подстраховал,— констатировал Совкин.— Скажи спасибо тому, кто тебе такой хороший горб сделал. Шевелить ногами-руками можешь?

После осмотра Лудов был отослан за носилками, и у него сразу нашлось множество помощников. Один из актеров, загримированный Волком, вызвался нести Бабу Ягу до машины на руках, но фельдшер неприязненно пояснил, что нужны именно носилки, а лучше — щит. Нашлась фанера. Когда Волк появился на сцене с фанерным листом, дети разразились одобрительным хохотом и аплодисментами. Волк находчиво раскланялся, помахал детишкам лапой и принялся помогать врачам.

Механик сцены, нервничая, копался с занавесом, и Лудов подивился такой нерасторопности. Втроем они осторожно уложили Бабу Ягу на щит, щит на носилки и понесли

за кулисы, к разочарованию зрителей. Самые маленькие вскакивали, чтобы не пропустить ничего любопытного, и кричали вослед, что лечить Бабу Ягу не надо, что она прячет Снегурочку от Деда Мороза...

— Почему работаете без страховки?— накинулся на пострадавшую директор.

Баба Яга отвернулась и закрыла глаза.

— Не мешайте,— оборвал его Лудов неожиданно для себя. Директор напомнил ему утреннюю ссору с Совкиным.— Отойдите, посторонние!

За кулисами Баба Яга стала показывать дурной характер: стонала и охала, но наотрез отказалась ехать, пока с нее не снимут грим и не отстегнут горб. Напрасно доктор Совкин убеждал ее, что время дорого, и сердился, а Волк обещал принести одежду прямо в машину «скорой помощи». Баба Яга на компромиссы не шла. Лудов поставил саквояж на круглый стол и отошел к двери. Возле Бабы Яги растерянно переминался с ноги на ногу раскрасневшийся Дед Мороз. Директор умолял его идти на сцену и спасать положение, но тот не шел. Волк, низко склонившись к изголовью носилок, ворковал ласково что-то Бабе Яге... Решительнее всех оказалась Снегурочка. Она сбегала куда-то и вернулась с вазелином и ватой...

Лудов сообразил, что актриса гораздо моложе своей героини,— очень уж заботливо вел себя Волк, да и все вокруг называли страшилищу Ниночкой. С нее сняли дикий, лохматый парик и расчесали темно-русые волосы. Возле лба и висков отчетливо проявился коричневый грим, покрывавший белую кожу. Сне-

гурочка помогла Нине снять плотные перчатки с когтями, и Лудов увидел маленькие ладони. Постепенно шло перерождение Яги в Василису Прекрасную. Кто-то рядом монотонно рассказывал, что Нина занимается в цирковой самодеятельности, что ее попросили сыграть роль Бабы Яги для детей, что она участвовала уже в одиннадцати представлениях...

Со сцены доносился бас Деда Мороза. Он оживленно рассказывал детям, как выручил Снегурочку. Весь зал хором закричал: «Сне-гу-роч-ка!» Та чертыхнулась и кинулась на сцену.

Баба Яга оказалась двадцатилетней плотной девушкой с круглым миловидным лицом и страдальческими серыми глазами. Ей было явно не по себе, что вокруг толпились люди, и она жмурилась от боли и смущения.

Лудов достал шприц и готовился сделать ей укол, но она воспротивилась.

— Ничего, Ниночка, ведь в руку же,— стали уговаривать все вокруг,— пусть уколет!

Но Нина, видимо, все еще находилась в роли. Сварливый характер не позволял ей быстро менять решения.

Всю дорогу до машины носилки с Бабой Ягой сопровождали актеры: Волк, Заяц, Дед Мороз... И Лудов заключил, что нрав у Нины не такой уж и плохой. Прибежала Снегурочка и спросила, куда повезут пострадавшую, чтобы можно было навестить. Лудову понравилась такая забота. Не понравилась, правда, забота Волка — тот готов был прямо-таки в машину забраться. Лудов его оттеснил саквояжем.

Больную уложили в машине.

Доктор Совкин по правилам уселся впереди, с водителем, а Лудову предстояло наблюдать за пациенткой. Он был рад. Он сел так, чтобы она тоже могла его видеть — рядом, на откидном сиденье. Он знал, что внешность у него заурядная. Круглые щеки и смешной нос делали его похожим на артиста Пуговкина. Ему об этом не раз говорили. Он даже копировал иногда артиста, и ему удавались смешные интонации. Но сейчас присутствие Нины стесняло его. Было, конечно, не до шуток. Лудов спрашивал время от времени:

— Не очень трясет? Что-нибудь беспокоит? Нина тихо отвечала:

— Ничего, потерплю...

Под конец пути Лудов осмелел и стал расспрашивать пациентку, где она работает и живет, часто ли занимается в студии, куда она хочет поступать летом... Он старался внушить Нине, что травма ее — пустяк, хотя знал, что серьезность повреждений установят только в больнице.

В приемном покое доктор Совкин написал направление, передал его дежурному врачу и, не дожидаясь результатов осмотра, махнул рукой Лудову — поехали! Фельдшер нехотя сел в машину.

По рации им велели возвращаться. Вызовов не поступало.

На станции «Скорой помощи» Лудов несколько минут слонялся по коридору. Его позвали играть в домино с водителями, но он отказался. Пошел в диспетчерскую. Долго смотрел на список телефонов. Набрал номер неврологического отделения первой больницы и попросил дежурного врача.

Диспетчер, молодой любознательный фельдшер, оторвался от журнала вызовов и прислушался к телефонному разговору.

— Здравствуйте! «Скорая» беспокоит. Мы вам привезли больную с ушибом позвоночника полчаса назад. Хороший рентген? Спасибо! А куда положили? Понимаете, нас родственники просили уточнить, в какое время можно навещать... Да? А что в передаче? Ага. Можно вам позвонить еще и вечером? Нам диагноз в карте надо поставить. Хорошо! Спасибо!

Диспетчер лениво полистал журнал и сказал:

— Баба Яга, наверное, столько раз со своей ступы шмякалась, что горбу пора нарасти... Ничего!— Лудов зло глянул на него.— Если звонить еще будешь, скажи,— попросил тот.— Интересно все-таки, какой диагноз...

Лудов кивнул, постоял минуту и пошел смотреть, как играют в домино водители...

Остаюсь с тобою...

Весело и необыкновенно все это начиналось. Впрочем, необыкновенного и потом было предостаточно, а среди первых радостей вспоминала Лена вот что: открыла она дверь, и сразу кто-то ее увидел, и тотчас все загомонили:

— Давайте Тихомирову отправим! Лену давайте пошлем!

И с облегчением засмеялись, как будто нашли выход из трудного положения. Лена поняла, что здесь разговаривают давно, шутят, тянут

время, чтобы домой не уходить, и ее приняли как своего человека. Она чувствовала, что нужна им и даже любима сейчас этими полузнакомыми людьми. И настроение у нее стало чудесным.

На самом деле, учится она хорошо, с поручениями справляется.

— Давайте Елену!— наперебой говорили сейчас секретарю комитета комсомола Веселову, и кто-то спросил:

— Лена, хочешь в молодежном лагере поработать?

— В смысле?

Веселов немного замялся, словно и сам неточно еще знал, что предстоит делать, но потом сказал:

— На подхвате будешь. Лагерь новый, штат еще не набрали. Поэтому обслуживать возьмут наших ребят, которые на каникулах. А отдыхают в эту смену иностранные студенты.

Лена колебалась.

— Конечно, это для них не столько отдых, сколько... встречи, семинары, беседы. Московские лекторы приедут,— веско говорил секретарь.— Только тебе придется еще человека поискать. По разнарядке обкома от нас должны ехать двое.

Он словно нарочно не замечал гримасу Лены. И она, еще не обдумав до конца свое решение, принялась машинально перебирать в уме знакомых: кто бы мог? Женька, конечно. Она тоже собиралась просидеть дома все каникулы.

Ровный характер Жени и ее пренебрежительное отношение к неизбежным неприят-

ностям, которые она списывала по графе «идиотизм жизни», определили окончательный выбор Лены. Обе жили у родителей, учились в параллельных группах.

Внешность Женьки вызывала у подруг искреннее сочувствие — никакой косметикой нельзя было подправить, приукрасить нелепые плоские скулы, сделать привлекательными низко посаженные глаза, отчего все лицо казалось приплюснутым. Да к тому же челка закрывала лоб, лезла на брови, словно Женька хотела спрятаться от постороннего взгляда. И тем удивительнее, что она не поддавалась давлению «комплексов», оставалась энергичной, живой.

Молодежный лагерь ЦК ВЛКСМ назывался «Сосновый бор». В солнечный день тени сосен пересекали тропинки в снегу, ведущие к спальным корпусам и главному административному зданию. Чуть поодаль от него стояли двухэтажные каменные дома для персонала. Здесь еще пахло штукатуркой, в подъезде валялась стружка.

В комнате стояло шесть железных кроватей, и девчатам объяснили, что вместе с ними будут жить студентки кулинарного училища. Тоже подработают в каникулы. Их назначение — идти в официантки. А Жене и Лене — мыть полы.

В первый рабочий день они распаковывали книги для киоска, развешивали бумажные гирлянды снежинок, расчищали снег под февральским белым солнцем, разглядывали «фронт работ»— конференц-зал, холлы, вестибюль.

Работали споро, даже пели. Женька же

комментировала события, поминая незабвенного Гаврилу из «Двенадцати стульев»:

Служил Гаврила подметалой,
Ковры Гаврила выбивал...

Гаврила в дворники нанялся,
Дорожки в парке расчищал...

А то рассказывала воображаемому собеседнику: «И вот работаю это я в ЦК, мою полы...» Лена сначала смеялась, потом начала коситься на Женьку — утомила.

Вечером молоденькие студентки кулинарного училища бурно устраивались на новом месте, перетолковывали друг другу смысл инструктажа, проведенного накануне отъезда в комитете комсомола, и откровенно хихикали, рассуждая о строгих правилах поведения в лагере:

— А я, девочки, буду ходить вдоль стенки с опущенными глазами!

— А я надену лыжные ботинки и лыжный костюм и так и буду подавать на стол. Чтоб не заглядывались!

Женька кидала на Лену недоуменные взгляды, та в ответ чуть заметно улыбалась: что с них взять? Пускай резвятся!

Когда подошли первые автобусы и распахнулись ажурные от инея ворота лагеря, когда уже «обслуга» сняла рабочие фартуки, оказалось, что на кухне какие-то неполадки с обедом, и началась паника. Женька из любопытства присоединилась к официанткам, мобилизованным на помощь поварам. Одна Лена бесцельно слонялась по коридору и погля-

дывала сквозь бумажные снежинки, наклеенные на окна, во двор.

Тут гости и явились. Девушек среди них было мало. Озабоченный вид приезжих: выкрики на чужих языках, выражение лиц, с каким оглядывали ее иностранцы, показались ей почему-то обидными — и она отправилась в свой корпус.

Ей хотелось, чтобы кто-нибудь заметил, как прекрасно она сохраняет самообладание, но, конечно, все были заняты своими делами, и ее уход впечатления не произвел.

А Женька осталась на общее собрание. Ей тоже казалось, что ее пристально рассматривают, но она воспитывала волю и боролась со своей мнительностью.

Молоденькие официантки, забыв вчерашнее веселье, деловито суетились в зале ресторана, им предстояло накормить сто пятьдесят человек и сейчас же, вымыв посуду, готовить столы к ужину...

В пустой комнате Лена уселась на кровать, достала из дорожной сумки английский детектив и наконец-то почувствовала себя расслабленной и спокойной — отдыхала от сутолоки и вынужденного присутствия на людях.

Но часа через два пришла возбужденная Женька. Она с облегчением скинула замшевые сапоги, в одних носках пробежала к койке и, улегшись, стала рассказывать о собрании.

Она даже не обратила внимания на книгу в руках у Лены — уж, разумеется, ее новости стоили любого чтения! Почитать-то всегда можно, конечно...

«Бесцеремонность какая»,— с неудовольствием отметила про себя Лена.

— А председателем избрали одного из Эквадора. Такой толстый, респектабельный, с тонкими усиками, темными глазами,— описывала Женька.— Ознакомили всех с планом, председатель и говорит: «Товарищи, мы внимательно выслушали докладчика, а теперь повеселимся, зададим ему вопросы».

Совет лагеря избрали, десять деловек. Да, и обговорили сразу — вот люди предусмотрительные! — если кому надо выйти, чтоб ни записок в президиум, ни поднятых рук: надо — выходи. Потом опять же без стука, без шума — заходи...

Каждый день по плану то праздник региона, то митинг солидарности, то концерт, то беседа. А самое для них интересное, по-моему, катание на русских тройках — прямо захлопали!

Она рассказывала долго, и Лена пожалела, что не осталась в конференц-зале вместе с Женькой. Скрывая досаду, спросила:

— А сейчас что они делают?

— В волейбол играют. Сборная Ближнего Востока со сборной Африки. Остальные болеют, кричат: «Тьемпо, тьемпо!» Наверное, «быстрее»— переводится. Как думаешь?

— Не знаю,— ответила Лена, расстроенная своим промахом.— Пойдем поедим?

И подумала, что впереди еще две недели, надоест даже. Ничего. А убирать корпус по ночам, когда гости уходят. Так что днем свободного времени достаточно.

Надо ценить маленькие радости: кормят, например, хорошо, по-ресторанному. А из зарплаты всего полтора рубля в день вычитают. После каникул на оставшиеся деньги можно купить термобигуди или, скажем, духи...

Поздним вечером Лена и Женька мыли швабрами полы, мели ковровые дорожки между рядами полированных стульев и пели про то, что «дружба сильнее страсти, больше, чем любовь». Стиль «ретро» был у студентов в моде.

Утром Лена совершенно расклеилась. Один раз подъем получился ложный — будили официанток, и под их утреннюю перебранку Лена едва заснула снова. Потом ее тормошила неугомонная Женька, звала на завтрак. Лена не привыкла дома ложиться в час ночи, голова болела, есть не хотелось.

Женька принесла бутерброд с сыром и стакан кофе.

— Не забудь назад посуду отдать,— приказала она.— Я обещала, что ты быстро. А зря не ходила! У кого-то из американцев день рождения. Так пока завтрак разносили, за его столом человек восемь пели под гитару. Представляешь? Даже повара вышли послушать.

Лена, как и накануне, ощутила укол зависти. И подумала, что жизнь определенно проходит мимо.

Она поднялась и торопливо стала наводить красоту. Умылась, вытряхнула на покрывало содержимое косметички: тушь для ресниц, сиреневые (к серым глазам) тени для век, помаду — два пятнышка на щеки — и растереть к вискам, малиновым карандашом обвести контур губ. Два пятнышка сиреневых теней на виски и опять-таки — растушевать.

Женька смотрела на нее с интересом, и Лене стало жаль подругу. Она сказала:

— С завтрашнего дня, Евгения, начинаем протирать лицо снегом!

— Брр! — передернулась та.— Лучше уж

давай делать зарядку. И вставать пораньше.

— Зарядку мы на ночь делаем. А утром надо за кожей поухаживать,— авторитетно заявила Лена.

— Это зачем еще?— подозрительно спросила Женька.— Ты, я гляжу, и так целую картину на лице нарисовала!

Лена улыбнулась и сказала, что никогда не узнаешь заранее, где тебя подстерегает судьба.

Потом Женька ей припомнила — про судьбу...

До перерыва они сидели в холле, перед конференц-залом. Двое смуглых парней, видно сбежавших с лекции, расставляли на шахматном поле стола гигантские фигуры. Третий читал развешенные на стенах объявления и первые стенгазеты, выпущенные накануне.

Женька отправилась искать парикмахерскую: официантки поговаривали, что сотрудников лагеря будут там причесывать бесплатно. Женьке не нужно было сооружать прическу, а стало интересно: неужели правда — бесплатно?

Лена томилась. Наконец в дверях возникли смеющиеся, оживленные студенты, и она поспешила войти в зал. Ей хотелось занять места в последнем ряду. Но, наверное, и здесь последние ряды пользовались особой популярностью, как в любой аудитории, потому что следом вошли несколько человек и сели неподалеку от нее. Лена забеспокоилась.

А потом рядом сел Сахиб. Он посмотрел на Лену с недоумением, как ей показалось, и она почувствовала, что надо объясняться.

— Если у вас занято, я перейду. Мы с подругой здесь случайно. Опоздали.

— Совсем нет, пожалуйста,— с акцентом, вежливо и даже учтиво ответил Сахиб. У него были крупные черты лица, их грубоватость (если не сказать — хищность) смягчала только белозубая улыбка. Но она появлялась нечасто.— Вы тут работаете?

Так они познакомились. И завязался первый разговор.

Сначала Лена старалась подбирать слова попроще и все время напоминала себе, что представляет администрацию лагеря, а возможно, в его глазах — и все советское студенчество (ей было страшновато), но потом она незаметно увлеклась и уже с настоящим интересом расспрашивала его: вот он говорил, в его стране образование стремятся получить только небогатые женщины. Что-то здесь не так... Допустим, бедным нужно учиться, чтобы зарабатывать на жизнь, хорошо. Пусть не специальные предметы, но другое что-то должно же богатых интересовать. Лена подумала:

— Музыка, например...

— Совсем нэт,— качал головой Сахиб, вкладывая в свое «нет» всю силу убеждения. Он всегда, заметила потом Лена, говорил так, словно пытался передать словами больше, чем подразумевалось под обычным их смыслом. Боялся, наверное, что словарный запас подведет...

— А литература? Танцы?— не сдавалась Лена. Ей казалось невероятным, что знания не относятся к привилегиям богатых, как о том говорилось в учебниках. И ей хотелось, чтобы Сахиб все наконец объяснил.— Ну, кулинария...

— Кх! Зачем кулинария? Есть повар! У богатой девушки не бывает никаких уроков. Ее выдадут замуж, ей не надо учиться. У нее есть украшения, платья, а другого ничего не требуется,— и деликатно прибавил: — Так там считают.

Лена без интереса взглянула на сцену, на появившегося докладчика и опять повернулась к Сахибу. А он теперь заговорил шепотом, и его смоляные волосы почти касались лица Лены. То ли от этого, то ли из-за волнующей темы разговора сердце у нее прерывисто забилось, и нужно было сделать усилие, чтобы не выдать собственного волнения.

— Смешной какой,— рассказывала Лена вечером Женьке.— На каждый вопрос отвечает или «безусловно!» или «нэт, совсем!». У вас, говорит, очень грамотная молодежь. Я спрашиваю, почему так решил. А у вас, говорит, никто не верит в бога, а развитие общества понимают как смену формаций. Вот так критерии! Представляешь? А больше всего понравились ему снег и метро в Москве!

Женька вытаскивала грубую мокрую тряпку из ведра, взахлеб добавляя:

— Да, интересно с ними! Ты слышала? Когда этот на сцене сказал: «Венсеремос»— весь зал скандировать начал. Женька отставила швабру в сторону и опять начала припоминать события дня: — А ты обратила внимание, какой фразой закончил последний выступавший?— Она отвернулась к темному окну и пошевелила губами. «Молодежь мира может быть уверенной, что мы будем бороться до

тех пор, пока не останется на земле метра, где существует эксплуатация человека человеком!» Без бумажки выступал. А тон такой, словно он здесь не меньше чем посол страны...

— Да,— тихо соглашалась Лена.— Сахиб рассказывал, у них целые баталии идут в общежитии. Европейцы, говорит, завидуют нам — азиатам, африканцам. — Она приостановилась.— Думаешь, почему? У нас, говорит, революционная ситуация.

— Ну, не у всех такие взгляды,— с сомнением возразила Женька.— Вот спроси у своего Сахиба...

— Конечно, не у всех,— согласилась Лена.— Он говорит, приезжают всякие, но убеждает ваш образ жизни. Любого среднего ливанца привези, он скажет — да у вас рай! Цены начал сравнивать. А еще говорил, что есть у них города, где к убитому человеку никто не подойдет, побоятся за собственную жизнь. Да и много чего...

— Повезло нам с этой работой! — воодушевилась Женька.— Ты как хочешь, а я завтра зарядку начну делать. А Сахиб твой ничего! Только взгляд какой-то тяжелый...

Она уже стояла с ведром грязной воды в дверях зала. Можно было гасить свет, запирать двери, но Лена почему-то медлила.

Подошла к окну, глянула на улицу — со второго этажа открывался вид на чистый дворик, покрытый голубоватым снегом. Рядом с двориком белел овал запорошенного снегом озера.

Прежде Лене никогда не приходилось задумываться над своей жизнью. События катились по рельсам к ясному, конечно, будущему.

Все шло само по себе — плавно и безостановочно. О чем еще думать? Не над учебными же проблемами. Вопросы на экзаменах подразумевали конкретные, взятые из учебников ответы. И если бы ее вдруг спросили, убеждена ли она в правильности их, она бы с недоумением ответила: «Конечно, какие еще могут быть разногласия!»

Наверное, поэтому она тогда опешила и замолчала. Не нашлась. Сахиб рассказывал о партизанском движении, и вдруг его сосед повернулся и спросил у Лены с робкой улыбкой:

— Вы не объясните, чем отличается патриотизм от национализма?

Лена удивленно вскинула брови и... промолчала. Парень усмехнулся. А Сахиб, поняв ее замешательство, недружелюбно взглянул на него и с горячностью приученного к дискуссиям человека принялся растолковывать, что от патриотизма один шаг до интернационализма, а национализм своей ограниченностью близок к фашизму.

Лена еще удивилась тому, как глубоко трогают их эти вопросы.

Официантки не спали. Чувствовалось, что у них что-то произошло.

Марина, худенькая блондиночка, отворачивалась и прятала заплаканное лицо.

— Как денек? — вместо приветствия бодро спросила Женька.— Почему хандрим?

Лена разбирала постель и слушала вполуха, что Маринку сегодня отчитал начальник лагеря. Та убежала на свидание с поляком,

не закончив работу. Начальник лагеря даже сказал:

— Ты в училище возвращаться собираешься? Смотри, как бы мимо не проехать...

— Это он тебе на Польшу намекал,— утешила Женька, и все дружно рассмеялись.

А Марина снова зарыдала и не в первый уже раз принялась объяснять, что у нее и в мыслях ничего плохого нет и не нужен ей этот поляк. У нее, между прочим, парень в городе.

Только разве не может человек понравиться?..

Лена молчала и невидящим взглядом смотрела в угол. Девчонки немного поспорили, кому гасить свет, и вскоре заснули...

Утром Лена и Женька проспали. Но Марина по доброте душевной вынесла им в вестибюль пирожки с джемом, и, наскоро перекусив, девчата побежали на второй этаж. Доклад был, кажется, интересным, многие что-то записывали.

— А я искал вас,— со значением в голосе обронил Сахиб, усаживаясь рядом с ними во время перерыва, и у Лены заколотилось сердце.

Она не стала говорить, что и она искала его, едва вошла в зал, видела, что рядом с ним пустует место — для нее? И если б не Женька, конечно, сама бы подошла к нему.

Заговорив с Сахибом, она снова увлеклась, и опять к ним оборачивались соседи, с укоризной призывая к молчанию.

Вечером, на концерте, Сахиб шепотом рассказывал им, какие танцы исполняют в раз-

ных провинциях и о чем поется в грустной арабской песне.

— Национальные особенности, безусловно, существуют,— рассуждал Сахиб.— Это зависит от географической широты, климата, исторических условий, традиций... Если человеку не нужно прятаться от холода и бананы висят прямо над головой, он не станет таким энергичным, как северянин. Я был в Сибири, в интернациональном отряде, летом.

— А я в Астрахани!— обрадовалась почему-то Лена.

— Да? Какие у вас девушки удивительные,— в замешательстве сказал Сахиб. И продолжил: — Там с нами европейцы были, кубинцы, африканцы. Все добровольно ехали. Работали хорошо. Но я посмотрел, как строят ваши ребята! И я понял, как вы построили социализм...

Лена только кивнула и не нашлась, что ответить. А Женька с увлечением глядела на сцену, лишь изредка прислушиваясь к их разговору.

Лена чувствовала себя выбитой из колеи и даже подумала о том, не уехать ли в город. Но тут же укорила себя: что за чушь?

О Сахибе между собой девушки говорили мало и только в том случае, если Лена сама начинала разговор.

— Необыкновенный человек.— Они мыли полы рядом. Женька драила сырой тряпкой, Лена следом за ней — отжатой.— Знаешь, рассказывал, как у нас попросился на завод, с рабочими у станка поговорить захотел. Разрешили, конечно. И представь, стоишь ты на рабочем месте, вдруг тебе сообщают, что пришел

иностранец. Коммунист. Что станешь делать? Ответственность-то какая! А он всех расспрашивал, довольны ли жизнью, о чем мечтают, какие планы на будущее...

Женька слушала, впадала в рассеянность, иногда взбиралась на сцену и одним пальцем колотила по клавишам рояля: «Когда умолкнет дискотека...»

Как-то неожиданно прервала рассказ Лены:

— А у них там опасно. Ты бы могла туда поехать?

— Туда?— удивилась Лена.— А ты?

— Если, говоришь, Сахиб обещает построить социализм,— увернулась от ответа Женька. Но глаза ее смотрели серьезно, будто она подталкивала Лену к откровенности.

— Ехать туда? — оттягивая время, неуверенно бормотала Лена.— Там же стреляют!

— Да разве есть что-нибудь лучше, чем погибнуть за мировую революцию?— сказала Женька, и тон у нее был... непонятным.

Странно они разговаривали: как будто слушали себя со стороны, как будто разучивали диалог из пьесы...

«А что, если поехать?»— замирая, подумала вдруг Лена.

Тихо кружил снег, особенно белый за городом. Поглядев на снежную кисею из окна, они спрятали швабры и ведра, надели пальто и вышли на улицу. Не слышно было ни звука.

— Ты иди, Жень,— торопливо попросила Лена.— Двери не запирай. Или я постучу?

Женька недоуменно повертела головой и увидела в тени крыльца Сахиба — давно, на-

верное, стоял. Замерз, втянул голову в воротник полупальто. Еще Женька заметила радостную и нежную улыбку на лице Лены и, чувствуя себя одинокой, обделенной, зашагала по широкой дорожке, заметенной легкой белой порошей.

Женьке не спалось. Она хотела дождаться Лену, расспросить о свидании, но та и двух слов не сказала, вернувшись под утро. Сразу же укрылась с головой одеялом и сделала вид, что заснула.

— К чему ты это? — робко уговаривала ее Женька за обедом.— На что надеешься?

— Обязательно разве надеяться?— с бессознательной улыбкой отвечала Лена, усталая от бессонной ночи.— Хорошо мне — и все тут! Помнишь, Шурка Савельев со мной встречался? Замуж все звал. А я не хотела и не хочу. Я только теперь свою жизнь, может, понимать начинаю...

— Да что понимать?— растерянно спрашивала Женька. Неумно рассуждала Лена, но радость в этих ее рассуждениях убеждала сильнее доводов.— Что ты теперь стала понимать?

— Себя!

Женька хорошо знала Савельева, с которым Лена встречалась полгода. Он казался не то чтобы толковым, но глупостей и пошлостей не говорил; не то чтобы симпатичным, а был не отталкивающей внешности. И еще! Никогда при девушках не ругался, а это уже говорило о чувстве меры и выдержке.

«А Ленка нос задрала!»— с осуждением вспоминала Женька.

Сама она и не мечтала о счастье — лишь

бы какую-нибудь судьбу обрести, лишь бы пройти все ступени жизненной лестницы. В этом было смирение. Но жила в ее душе и гордыня: да, знаю, что некрасива, поэтому редкое дружелюбие однокурсников принимаю по-товарищески просто и независимо. И Женька не спешила обратить случай себе на пользу.

Но как это Лена затевает роман на полмесяца? Очертя голову бросается в неизвестность. Как это неумно!

Подкатили к подъезду красные «Икарусы», ребята со смехом, с песнями побросали на сиденья сумки и «дипломаты», крикнули хором: «До свидания!» Две-три официантки вытерли слезы, и все кончилось.

— Писать-то будет?— со скрытым упреком спрашивала Женька Лену.— Хоть договорились?

Лена вздыхала и отвечала неопределенно:

— Уж, наверное, напишет. Может, я в Москву к нему...

Женька ахнула:

— С ума ты сошла! И дальше, думаешь, потянется эта история?

— А что...

— Так ты, может, и замуж за него надеешься?— удивилась Женька.— Перестань!

— Не знаю,— сказала Лена, и вид у нее был, словно она плывет куда-то во сне.

...Радость прошла, пропал интерес к жизни. Лене казалось, ей нечем больше дышать.

По институту она ходила задумчивая, во-

все не похожая на себя прежнюю, а то, наоборот, много и оживленно рассказывала о международном лагере. С Женькой делиться своими переживаниями она не хотела. Слишком уж все это ту удивляло. Но поговорить с кем-нибудь надо было, тайна становилась невыносимой.

В выходные дни Лена по три раза ходила к почтовому ящику, но напрасно. Однажды в лаборатории она так забылась, что вслух прочитала:

Я жду письма,
Почти сходя с ума.
И с каждым днем моя надежда тает.

Хорошо еще, шум стоял и никто, кроме соседки по столу, Ларисы, ее не слышал.

— От кого ждешь?— неискренне поинтересовалась Лариса.

Лена смутилась, потом легко соврала:

— Буду на Восьмое марта читать. Ты идешь на «огонек»?

— Некогда мне,— сказала Лариса и тотчас потеряла к Лене всякий интерес...

Вечером следующего дня Лена пошла к школьной подруге Рае, с которой встречалась теперь от случая к случаю, но в слепой привязанности которой была до сих пор уверена.

От удивления у той открылся маленький рот при виде гостьи. Немного поболтали о пустяках, сидя в задней комнате у письменного стола. Родители за стеной смотрели те-

левизор. Брат Раи читал книгу на кухне, ушел туда из деликатности.

— Я тебе сказать хочу. Только смотри, никому об этом! А то меня еще из института выгонят,— пригрозила на всякий случай Лена.

— Ой!

— Я в молодежном лагере неделю назад была. В иностранца там влюбилась.

— Ой, Ленка!

— Ну что ты кричишь? Прямо хоть пешком по шпалам — в Москву...

— Вот счастливая!

Лена с удивлением поглядела на подругу и вздохнула:

— Как в другую жизнь заглянула. Все всерьез, по-настоящему, понимаешь? Меня как подменили с тех пор.

— А он?— замирая, спрашивала пухленькая Рая. Она работала на почтамте и наблюдала жизнь через стеклянное окошечко «до востребования».— Он тебя любит?

— Любит, говорит,— Лена вздохнула.— Вот письмо прислал.

Она достала торопливо разорванный конверт и на некоторое время замолчала, вчитываясь в неровные строки. Сахиб писал, что разговаривал со своими товарищами, те советуют идти в посольство, если намерения у них с Леной серьезные. Сахиб, кажется, колебался — много писал о сложной обстановке на родине, предлагал Лене подумать...

— Ой, Лена!— воодушевилась Рая. — За границу поедешь с ним, а? У нас на почте одна поехала по туристической путевке в Болгарию, там тоже чуть замуж не вышла, прав-

да-правда. Кожаную курточку себе привезла!

— Да не надо мне курток.— Лена махнула рукой и устало засобиралась.— Ладно, пойду. Никому не рассказывай.

— Да ну что ты! Зачем мне? Заходи. Или я сама забегу к тебе, ладно?

И по ее лихорадочному лицу Лена догадалась, что завтра же эту историю узнает весь почтамт. В первую очередь, разумеется, незадачливая туристка. Узнают без имен, конечно, без имен....

Да, поделиться было не с кем...

После лекции Лена спускалась по лестнице рядом с Шуркой Савельевым. Весь год у них были подчеркнуто нейтральные отношения, но перед каникулами Шурка, похоже, окончательно перевел ее в разряд друзей, потеряв матримониальные надежды. Лену это подзадорило. На занятиях она равлекалась тем, что бросала на Савельева задумчиво-грустные взгляды. Конечно, возвратись Шурка к прежним ухаживаниям — и Лена сразу бы стала равнодушной, но он держал вежливую дистанцию. Это было интересно. Вот новости! Лена не узнавала его, и порой закрадывалась мысль: может быть, она не знала Савельева и раньше?

Наблюдать за Шуркой и думать об их исчерпанном романе было для Лены той игрой, которая скрашивала однообразие повседневной жизни. Пожалуй, дотянись такой односторонний флирт до весны, когда хочется перемен и веришь в лучшее, Лена могла бы влюбиться в Савельева. Но теперь, после каникул, собственное кокетство представлялось ей пошлым и никчемным.

Рядом они оказались, по-видимому, случайно. Но тот вдруг спросил:

— Ты не в буфет? А то пойдем на второй этаж, народу меньше.

Лена хотела ответить, что в столовой уже заняли ей очередь, но неожиданно согласилась с радостью.

— Значит, интересно в лагере было?— мимоходом спросил Шурка, уже прослышавший о поездке.

Спросил, чтобы начать какой-то другой, важный для него разговор. Но Лену задел его равнодушный тон, и она принялась в который раз, расставляя восклицательные знаки, вспоминать про жизнь в «Сосновом бору», про новых знакомых и неожиданно для себя — про Сахиба. Скорее всего, чтобы Савельева уколоть.

— Ты прямо влюблена в него,— с полуулыбкой сказал Шурка.

И Лена быстро ответила:

— Да. Может, и замуж за него выйду. Зовет.

Шурка помолчал, потом сказал с осуждением:

— Выдумала себе тоже! Романтика: в партизанах был, из автомата стрелял. Хотя — дело понятное. Есть такие — нашего кандидата наук на заграничного слесаря запросто сменяют. Иностранец! Романтично!

Лена обиделась и в запальчивости ответила, что самому Шурке заземленность как раз и мешает!

— Выходит, Шурка, интересно с теми, у кого преферанс и пиво на уме?

Это уж сам он виноват: проговорился од-

нажды, что до утра играли в общежитии в карты.

— А целина?— стал слабо защищаться Шурка.— А отряды?

— Да ты сравни, послушай! Как они там все воспринимали! — нападала Лена, не вникая в смысл его возражений.— Наши бы совсем по-другому слушали. Вот приезжал замминистра высшего образования. Его спрашивают из зала, почему для иностранцев нет отдельных групп. Знаешь, что он ответил? Так примерно: «Мы над этим думали. Создавать ли отдельные группы или учить вас с советскими студентами. И мы решили, что мы будем учить вас как своих детей!» Ты б, Шурка, слышал, что за овация была...

Сахиб ведь почему на истфаке? Думаешь, после университета он учителем истории пойдет? Да? А он говорит, что будет профессиональным революционером, историю стал изучать, чтобы лучше разобраться... Вот в каком бы деле участвовать, помогать этому, а?

Савельев поморщился, сказал:

— Ну и хорошо.— Потом о чем-то размышлял и спросил: — Неужели идешь ко дну? Ведь две недели только были знакомы...

И Лена с удивлением различила в его голосе сочувствие, ревность и скрываемую боль. Раньше она в Савельеве тонкости чувств не замечала. Слегка растерявшись, Лена ответила что-то невнятное...

А на семинаре для параллельных групп к ней подсела Женька. По ее лицу было видно, что у нее есть дело, и дело значительное. Она внимательно оглядела Лену и заметила, что выглядит та неважно: уголки губ опущены, дви-

жения вялые — вон как медленно вытаскивает конспекты из портфеля.

— Знаешь Галю Козлову из девятой группы?— начала Женька энергично.— Ты слышала, она летом по путевке за границей была.— Женька замялась, подыскивая объяснение своим переговорам с Галей, и вдруг предложила:— Поговори с ней. Хочешь? Она там случайно встретилась с русскими... Ну, с теми, которые замуж повыходили и уехали...

Лена посмотрела на нее удивленно, но, чтобы прекратить неприятный разговор, кивнула. Женька тут же подхватила инициативу:

— На лекции, идет? Я ей скажу.

Лена кивнула опять, подумав, что от услужливой Женьки не так легко отделаться. У нее каждые полгода появлялась новая подруга. Женька обрастала ими, любила громко покричать, посмеяться в толпе девчат, подкупая их безотказностью и чистосердечной заботой. Она любила, чтобы в ней нуждались.

Галя Козлова подошла к ним перед лекцией. Ее попросили провести воспитательную беседу — пожалуйста. А то выдумают же! Своих парней им не хватает... Правда, Женька предупреждала, что надо поосторожней поговорить. Но разве Галя не понимает? Выступление на собрании — одно дело, а пока до этого не дошло, можно и поделикатнее.

Лена, завидя ее, поняла, что беседы не избежать, и сделала заинтересованное лицо. А Галя, взглянув на часы, почти бегом взобралась на «галерку», торопливо приготовила ручку, тетрадь и начала рассказывать в сотый раз надоевшую ей историю:

— Лучше б, правда, Женька сама. Она уже

слышала. А у меня язык даже теперь заплетаться стал, как автомат говорю. Надоело. Ну, пошли мы на встречу с сотрудниками одного научно-исследовательского института.

Галя была заместителем секретаря курсового бюро по культмассовой работе. Она не могла уклониться от выполнения долга и рассказывала обстоятельно, хотя и торопилась.

Пришли они на встречу.

Столики в зале, на первом этаже здания. Одинокие сиротливые бутылки, фужеры, тарелки. Но в смежной комнате — стол, уставленный яствами. Салаты, бутерброды. Каждый бутерброд скреплен пластмассовой шпагой или пикой, а все они разноцветные — красиво. Подходи с посудой, бери сколько нужно.

Вот уже и тосты отговорили. Разумеется, про мир и взаимопонимание. Галя вежливо отпускает любезность какой-то соседке:

— А вы хорошо владеете русским языком!

Иностранка отвечает:

— Еще бы! Я из Львова.

И рассказывает свою историю. Такая с виду простенькая, без грима совсем, потому что вечер устроили сразу после работы, а на службу они ходят в ситцах и без косметики. Естественность сейчас в моде.

Студенткой она надумала выйти замуж за иностранца. Другие же выходят иногда — письма домой пишут, подарки родным посылают. Расписались. Первый ребенок в России родился, когда еще оба учились. Родители помогли. Второго, тоже мальчика, уже тут завели. Каждый год в отпуск ездит домой. Хорошо.

Галя спрашивает:

— А родители-то как?

Тут «перебежчица» помрачнела. Что ж, родители... Конечно, ревели поначалу. Особенно мать. Говорила все: как ты за границу? У тебя тетка, сестра моя, в Германии погибла, угнанная туда. У тебя деда на фронте убили... Нечего говорить. Не понимают, что время другое.

А какие здесь женщины! Подтянутые, за собой как следят, в магазине платья больше сорок восьмого размера даже и не продают. Нет таких. Свекрови за шестьдесят, и муж умер лет пять назад, а она — и в сауну, и к парикмахеру, и к массажистке, и к портнихе!

Или на мужчин посмотреть. Ни грубости от них не услышишь, ни громкого́ слова. Пьяных на улицах нет. Никто не пристает к тебе.

После этого дифирамба «перебежчица» помолчала и сказала с безнадежным вздохом:

— А, все они одинаковые!

Галя даже не переспросила, что имелось в виду, так опешила от неожиданности. Уж не жалеет ли та о замужестве? Но «перебежчица» заговорила сама.

Про то, что вначале особенно тяжело пришлось привыкать. Хотела к соседке сбегать за яйцом для теста, свекровь говорит:

— Нет, нельзя. Лучше выбрасывай, что замесила.

— Так я завтра целую коробку верну!

— Нет, у нас не принято.

Наша-то пословица: хороший сосед лучше родственника. Какая там родня! Улыбаются, здороваются — вот и все родственные связи. Чтобы там в гости или посидеть просто так вечером, по-соседски, и помину нет.

Тяжело, непривычно.

Мебель, ковры, одежда — это да, это купить, конечно, можно и дешевле, чем у нас. Только мебель каждый день ведь менять не станешь, а душе-то каждый день не по себе...

Дети по-русски говорят плохо. Только и послушаешь русскую речь, когда в посольстве соберут на праздник Дружбы.

Лектор вышел к кафедре, Галя Козлова смазала свой рассказ, неопределенно пообещав окончить его потом.

Женька нетерпеливо поглядывала на Лену. Ей хотелось узнать, какое впечатление на нее произвела воспитательная беседа, ведь просто сохнет по своему Сахибу. Даже кожа подурнела, а волосы висят, не пушатся. Правильно, значит, читала она в популярном женском журнале, что о состоянии здоровья и психики можно судить по волосам: хорошее настроение, здоровье в порядке — и прическа сразу аккуратная, волосы блестящие, красивые...

Конечно, в молодежном лагере было много любопытного, но две недели прошло. Довольно.

— Он пишет тебе?— спросила Женька шепотом, видя, что Лена плохо слушает лекцию.

— Пишет.

— Что?

Лена неопределенно кивнула и показала глазами на кафедру, за которой профессор... Дескать, потом... Ее мучили непонятные фразы письма о том, что рисковать ее судьбой Сахиб не имеет права. Несколько туманных извинений. И тут же — про посольство. Значит, все всерьез. Лена боялась поверить и верила, замирала от счастья и ужасалась необходимости принять решение.

— Зовет приехать? — опять не выдержала Женька.

— Замуж предлагает,— вырвалось у Лены. Эх, Женьке-то как раз и не надо было этого говорить!

— Неужели?— ахнула та.— Отказывайся, Ленка! И не думай даже! Ведь там настоящая война...

— Ты ж сама говорила, что хорошо бы погибнуть за мировую революцию,— с досадой сказала Лена.

Женька забормотала, что тогда она рассуждала в плане теоретическом, и вообще, хотелось узнать, как Лена к такому отъезду относится, а если без шуток, то чем уж особенным может там помочь двадцатилетняя Лена? Кому нужна такая жертва? Сахибу?

— Когда он кончает учиться?

— В мае,— сказала Лена. Она ощутила слабость, словно весь ее запал ушел в бессмысленный разговор с Женькой.

Обо всем этом Лена уже думала десятки раз, но то — про себя, ночью или в переполненном автобусе. А сейчас все ее доводы повторяла Женька. Да-да, для Сахиба его дело — прежде всего. И не станет ли она ему обузой — без знания языка, обычаев, условий работы... Вдруг почувствовать себя лишней, ненужной... Все в ней протестовало против такого поворота в рассуждениях.

Решено, надо ехать и говорить с Сахибом. Все решать вдвоем.

— Дальше рассказывать?— спросила во время перерыва Галя Козлова. Она была ис-

полнительной девушкой и все доводила до конца.

— Не надо. Я пойду, пожалуй,— сказала Лена, складывая тетради.— Мне что-то нехорошо...

— Только этого еще не хватало! — с испугом воскликнула Женька.— Заболела? Или что?

— Проваливай ты со своей заботой,— грубо ответила Лена, и это было так не похоже на нее, что Женька покорно закивала.

В коридоре Лену догнал Шурка Савельев и спросил, какой она выполняла вариант лабораторной работы. Выбрал же время! Лена ответила ему, но он опять спросил о чем-то, и только спустя минуту Лена поняла — звал в кино.

Разве не видно, что ей сейчас не до кино...

Почему они рассказывали о «перебежчицах»? Женька же еще не знала о письме. Догадалась? Но как тут не различить — расчет и любовь! Лена ведь помогать хочет любимому человеку...

Все. Не надо думать, не надо сомневаться, взять необходимое, написать записку матери и вечером — на вокзал.

Почему только они называли ту женщину «перебежчицей»? Разве Лена кого-нибудь предает? Человек должен быть там, где он нужнее.

Но если со временем она станет помехой Сахибу?..

Нет, не нужно размышлять.

Она уже собиралась выходить из дома, когда в дверь позвонили. Лена засунула дорож-

ную сумку под вешалку и открыла, предчувствуя нежелательное объяснение с матерью. Но, к счатью, это была всего лишь Рая.

— Проводишь меня?— обрадованно спросила Лена.— Мне на поезд надо. Времени нет.

Хорошо, что она пришла, думала Лена. За разговором будет не до сомнений. И вдруг сама принялась ей рассказывать о своих делах.

— Значит, едешь?— словно не понимая, о чем речь, переспрашивала Рая и поглядывала на сумку.— Прямо сейчас?

И как будто уже отгородилась от прежней подружки печалью расставания. Эта горькая нотка, прозвучавшая в Раином вопросе, со всей очевидностью доказывала, что отъезд Лены окончательный, надолго, навсегда. И хотя сама Лена знала, что едет всего лишь выяснить отношения, сердце у нее заныло предчувствием глубоких перемен.

— Да нет! Говорю же, не знаю пока,— опять начала она объяснять Рае.— Мне нужно его видеть, когда он про это говорит, понимаешь?

Рая не понимала. Она уже отдалялась от Лены, она уже мысленно провела черту между собой и ею, потому что реальным был вокзал, запахи смазочных материалов и сиротливые провожающие...

— Ты не сможешь,— убедительно сказала Рая, представив себя на месте подруги.— У тебя сразу же наступит... ностальгия, вот увидишь. Все чужое! И захочешь назад.

— О чем ты?— сердито оборвала ее Лена.—

Как ты не понимаешь? А если я люблю его? Мне без него жить не хочется. Вот раньше я думала, что мне нужно в Крым съездить, потом диплом защитить, о квартире своей мечтала. Ну, по мелочам: сапоги купить красивые, а сейчас мне ничего не нужно, ничто не интересно. Все это стало не важным. Я хочу быть с ним рядом. Понимаешь?

Рая испуганно примолкла. Они подошли к вагону. Лена достала из кармана пальто билет, купленный днем. Она про себя все еще продолжала говорить, убеждая... кого? Неужели простодушную Раю?

Перед тем как сесть в поезд, Лена примирительно сказала:

— У Сахиба есть дело, которому он может отдать все. А у меня такого дела нет. Да и вообще, он для меня — единственный.

Рая почему-то нахмурилась и наскоро простилась. А Лена вошла в вагон, отыскала место в купе — верхняя полка была уже застелена — почти сразу улеглась спать.

Но сон к ней не шел.

Под утро она встала с головной болью. Двое соседей, пожилой мужчина и его дочь, молчаливо увязывали сумки, хотя до Москвы было еще полчаса езды. Лена посмотрела в зеркало и осталась собой недовольна. Ей вспомнился прощальный разговор с Раей, ее слова об отъезде, и она ощутила озноб. Лена болела редко, но сейчас чувствовала, что у нее поднимается температура.

За окном мелькали какие-то перелески. Они уплывали, казалось, безвозвратно и навсегда оставались за последним вагоном поезда. На сером полотне хмурого зимнего утра словно

кто-то нарисовал черной тушью телеграфные столбы...

Внезапно включили радио — близилась столица. Начали передавать традиционный концерт советских песен: о Москве, о Родине... Торжественные аккорды и счастливые восклицания труб...

Я по свету немало хаживал...

Лена поймала себя на том, что машинально повторяет про себя слова песен. Ее пересохшие губы беззвучно шевелились:

Была бы наша Родина богатой и счастливою,
И выше счастья Родины нет в мире ничего...

Лена хотела попросить, чтобы радио выключили или хотя бы сделали потише, но поняла, что ей стоит большого усилия заговорить. В горле образовался комок. Лицо у нее горело.

Лена вышла на перрон вместе с толпой, в общем потоке пассажиров добралась до дверей вокзала и неожиданно оказалась перед билетной кассой. Она вдруг поняла, что не может встретиться с Сахибом, не должна. Лена купила билет обратно и, ощущая головокружение и слабость, присела на скамью в зале ожидания.

Представилось, как мало она успела в жизни. И чего стоили ее хорошие отметки... Сколько времени потрачено впустую.

По перрону торопились на пригородную электричку люди, Лена почувствовала себя

совсем большой. И в голове продолжала звучать песня:

А я остаюся с тобою, родная моя сторона,
Не нужен мне берег турецкий...

Хозяйка

Завтра нашей Тане исполняется тридцать один. Не юбилей, не круглая дата, но каждой матери хочется в день рождения ребенка побаловать. Вот собираюсь подарить ей перстень «шахиня» с высоким ограненным камнем, какие сейчас в моде. Младшей, Вике, тоже купили недавно перстенек, но поскромнее, девичий. Два золотых листочка и небольшой александрит. Мало кто — поглядеть на руки и уши — понимает толк в украшениях, лишь бы драгоценный металл, лишь бы потяжелее да подешевле. А ювелирное изделие надо уметь подобрать, как картину выбирают или подходящую косметику...

У нас в семье вообще не заведены дешевые подарки — ну, сами подумайте, к чему эти рублевые сувениры, только захламлять комнаты. Духами и так весь подзеркальник уставлен. Ночные рубашки да чашки с ложками — это «подарок с получки». Так дарить, чтоб действительно память была и на черный день подспорье, я считаю.

Экономить деньги — тоже целая наука. А расходов с детьми, сами знаете...

Со старшей был случай в десятом классе. Собрались они в школе на какой-то свой вечер, переоделись, все в классе пооставляли:

сапожки, шубки, кофты. Возвращается домой моя Татьяна — ревет.

— Что?

Украли шапку лисью, новую. Говорю:

— Теперь ходи так. Не напасешься на вас!

В мохеровом осеннем беретике мороз-то прохватывает. Я не выдержала, конечно, купила ей «боярку» из искусственного меха. Ну, она ничего. Всю зиму носила. Только уж осенью, когда в институт поступила, стала настоящую просить. Мол, в каникулы поедет со студенческим отрядом на целину, заработает, песца себе купит.

Этого нам только недоставало! Оставлю я разве их без присмотра?

— Ладно,— говорю,— будет тебе песец. А на каникулы опять в Крым поедем. Нечего тебе на целине делать, обойдутся.

Отложила пенсию, два месяца экономила — купила шапку из голубого песца.

А на тридцатилетие мы ей серьги с бриллиантиками достали. Сложились с отцом. Разве она в своем книжном коллекторе заработает на такие? Не бог весть что получает. Но я так считаю: самая подходящая работа для девочки — спокойно, неответственно и окружение приличное. Книги можно брать читать. Я из редакции тоже новинки журнальные приношу, у нас в семье читать любят, интересуются.

Живешь-живешь спокойно, вдруг — на тебе! Какие-нибудь хлопоты. Отец однажды (ни с моря, ни с Дона) сообщает:

— Я после демонстрации зайду с товарищем. Обед готовьте.

У меня сердце так и стукнуло. Что за товарищ? Уж, кажется, отучила его от холос-

тяцких компаний, неспроста это. Знала бы, что он Татьянке велел принарядиться, догадалась бы.

И приходят. Откуда такой «товарищ» взялся, лет на двадцать моложе нашего папочки? Из своих подчиненных трестовских выбирал небось?

Когда усадил отец Татьяну и гостя рядом, у меня глаза и открылись. Разумеется, я магнитофон погромче включила и телевизор. Девочки мои нервничают. Таня вилки роняет, соус на платье-марлевку капает. Вика вместо хлеба салфетку ко рту несет...

Я глазами показываю отцу — видишь, до чего довел детей? Этого ты хотел?

За полчаса сменила им пять блюд, как в ресторане, где очередь на комплексные обеды. Девочки мои растерялись, посуду относить помогают.

За чаем говорю молодому человеку:

— Уж извините, чем богаты, тем и рады. Заходите еще в ближайшие праздники. У нас, сами видите, только свои...

Папочке делать нечего, убито глянул на меня и пошел провожать своего «товарища».

А я девочек спрашиваю:

— Ну, как вам Женя?

Вика отвечает: ничего, только старый. Танюша молчит, красный соус на платье вытирает.

Я чувствую, что не тот взяла тон, давай отца ругать:

— Хорош наш папочка! Привел человека, а тот и рта не может раскрыть. Или уж такой молчун безропотный? Или слишком хитрый — в дом хотел втереться, чтобы началь-

нику своему угодить? Скромным решил показаться. Не обижайся на отца, Таня. Просто скажи — что за бестактность? Я сама и вмешиваться в это не хочу. Ты же знаешь, и я и папочка тебя любим, а знакомство это он затеял не от большого ума. Разве ты камень на шее, чтобы вот так от тебя отделываться? Не старые времена, не обуза же ты в семье! Зачем расстраиваться? Ты ж моя помощница, умница... Папочка не хотел тебя обидеть.

Вижу, у Татьяны уже и глаза покраснели, готово дело. О чем они говорили с отцом после этого, не знаю, но он неделю ходил как в воду опущенный. Никого мне больше в дом не приводил.

И девочки этого Женю не вспоминали...

Они у меня обе не красавицы, не в маму. Да к тому ж зрение себе учебой испортили, очки носят. Я порой посмотрю на нынешних девиц — шапки с головы у них не собьешь: крепкие, вальяжные. Как это матери выращивают таких дочерей? А мои — худышки, по две косточки...

Конечно, я сама их в школе строго держала. Но потом-то, потом даже одергивала — хватит учить, погуляйте, посидите у подъезда, подышите. Невозможно на улицу выпроводить, бедняжки голов от книг не поднимают.

Ну, Таня уже на ногах, Викочке недолго осталось. Через год получит диплом, и нам полегче будет. Надо уже думать о распределении, чтобы в городе осталась, главное. А работу подыщем. Да взять хоть наш отдел писем — дело чистое, техническое. Я за год освоилась, как вышла на пенсию и после типографии сюда устроилась. Вика, кстати, филолог, ей это будет

даже интересно. Не в школу же идти. Там такие детки, и чем дальше, тем хуже. Спасибо, пока учителей не бьют. А грубостей и безобразий нам с Викочкой не надо.

Я насмотрелась еще во время учебы дочерей. До сих пор вспоминаю эти родительские собрания с разбором происшествий. По каждому поводу — хоть заметку в газету.

Как-то к Татьяне приходит один из «этих» мальчиков.

Она мне:

— Свари нам кофе, мама!

Я говорю:

— Да ты хоть знаешь, что твой приятель отчудил? Как его родителей классная руководительница отчитывала? А ты его в гости?

Вижу, бледнеет моя Таня и робко врет, что шефствовать над ним ей поручили. Конечно, я его по-умному выпроводила через двадцать минут, а ей говорю: «Попрошу учителей уволить тебя от такого шефства. Кто поручил, скажи?»

Старшенькая моя сразу в слезы. Младшая, на нее глядя,— тоже. Я виду не подаю, весело ее спрашиваю:

— Викуля, а ты чего ревешь, глупыш? Не пришлось бы потом жалеть сестренку...

Берегла к празднику, да ладно — достаю из шифоньера туфли югославские Танюшке, утешься только. Вижу, обрадовалась, примерять стала. Вика канючит: и мне...

После этого случая мальчик к нам больше ни ногой. Обе дочки — у меня строго — с пяти часов дома. Я и нахваливаю:

— Молодец, Танюша. К выпускному нужно ей, отец, золотую цепочку подарить...

Платье бальное сшили ей в лучшем ателье. Тоже в копеечку встало, но такое событие раз в жизни. Отец с книжки снял деньги. И на пошив, и на цепочку. От себя подарил еще китайскую авторучку с золотым пером, для института.

Приходили сверстницы со двора смотреть подарки, ахали.

Да, Таня у меня тихая девочка всегда была. Викуля упрямее. В пятом классе моя младшенькая стала косы заплетать. Говорю:

— Давай отведу к своему парикмахеру, лучший в городе, на конкурсе призовые места получал. Сделаем тебе модную прическу.

Нет, уперлась. Но меня ведь не переспоришь — морока ей голову промывать. Год убеждала и остригла наконец.

С Татьяной всегда проще было. Скажу ей:

— Какой пример ты сестре подаешь?

Она сразу и примолкнет, опомнится. А младшая повзрослела только в институте. У них на факультете одни девочки, тихони...

Только однажды еду с работы, навстречу Викочка, третьекурсница моя, с каким-то молодым человеком. А говорила, занятия на вечер перенесли.

Нет, я понимаю — возраст, но зачем обманывать-то? Увидела меня — чуть не споткнулась даже. Я, конечно, выдержку проявила, не кивнула, не оглянулась. Но вечером спрашиваю ее:

— Это что ж, с вашего курса мальчик? В общежитии живет? А почему родители ему комнату не снимут? Обеспеченная семья?

Вика тут разрыдалась, ее, видите ли, это не интересует.

Я ее обняла, приласкала и говорю:

— Деточка моя! Тебе так кажется, что не интересует. Вы ж у меня сложносочиненные, избалованные. Ну, хочешь три сезона одни сапоги носить? Тогда выходи за него... Но ты ж не собираешься за такого замуж?

Викочка и плачет, и смеется уже.

— Нет,— отвечает,— до свадьбы еще дело не дошло.

— И прекрасно! Зачем тебе такой? Живи-ка с нами, как Танюша. Все равно лучше нашего папочки никого нету и не найдешь: не пьет, не курит, всю зарплату домой приносит. Вся уборка в воскресенье на нем. Вот и письмо знакомым написал в Киргизию, чтоб вам хорошие дубленочки прислали, там есть.

Вижу, заулыбалась. Стала про дубленки расспрашивать.

И весь конфликт, как говорится, исчерпан. Просто нужен подход в каждом отдельном случае. Тогда из любой ситуации найдется выход.

Вот совсем недавно Вика едва не наглупила. Очень нас напугала. Уж и не рассказывать бы про это, да я сама тревогу подняла, всех на ноги поставила, так что тайны ни от кого нет. Ну и ничего страшного, нечего трагедию изображать.

К ужину Викочка всегда обычно дома, а тут спать пора — ее нет. Отец своим хладнокровием — все «подожди» да «не спеши» — до крика меня довел. Никто мне не помощник. Танюшка тоже молчит, но как будто что и знает. Ладно. Обзвонила я девочек, школьных подруг Вики, к соседям забежала, может, они ее видели где.

— Да не волнуйтесь,— говорят, — она раньше-то предупреждала, когда уходила или задерживалась?

Ну куда ж ей уходить? Где задерживаться?

А уж когда она после двенадцати не явилась, я и в милицию позвонила, и декана с постели подняла.

Утром пошла в институт вместе с Татьяной. Вызвали к декану всю Викину группу. Сидят студентки, жмутся чего-то. Какая-то девчушка, невзрачная, в стоптанных туфлях, с хозяйственной сумкой, сказала-таки:

— Не плачьте, я покажу дом. Знаю, где ваша Вика.

Таня так и вскинулась — тоже, видно, переживает за меня.

Хорошо, хоть обошлось все. Пришли к старому трехэтажному особнячку. На втором этаже звоним. Открывает дверь Вика. Я ничего не понимаю, не вижу никого, кроме нее. Жива! Почему-то в халате нейлоновом (Таня ей дарила на двадцатилетие). Я плачу: зачем же нас так пугать? Ну, хочешь замуж выйти, посоветуйся, обдумаем вместе, а это что ж за мода такая — побегом! Пойдем домой, отца успокоим. Он на работу не пошел, звонит по телефону во все концы.

Вика, бледненькая, залепетала что-то, на Таню укоризненно смотрит. Таня вдруг начинает рассказывать, как мы в институте узнали все. Вика меня по плечу гладит: она, видите ли, решила тут остаться. Знакомит с мальчиком каким-то, а тот норовит в кухне спрятаться, вовсе оробел.

Я говорю:

— Ладно-ладно. Что и было, уж не вер-

нешь. Надо о сегодняшнем дне думать. Там папе неотложку вызывали уж, наверное. Где твои вещи? Сумка? Давай понесу. Обувайся.

За руку и увела ее.

Отец мне потом выговаривал: не надо было трезвонить, шум поднимать. Позор, дескать. А что такого? Она не убила, не ограбила никого. Ну, поторопилась я, так на моем месте любая мать начала бы метаться...

Целую неделю я Вику от себя не отпускала. Провожала и встречала. Хорошо еще, что без последствий обошлось...

Время прошло, Викочка от своего столбняка очнулась. Я ей и говорю:

— Съезди-ка проветрись. Папа тебе путевку взял в Венгрию. Понравится — через год в Финляндию отправим тебя. Или в Японию, если хочешь.

В Венгрии очень она поправилась, поздоровела. О женихе своем без досады и вспоминать не могла. Говорит нам с Таней:

— Настоящих мужчин сейчас нет. Слабаки. Нянькой при нем быть? Уж лучше пожить независимой, хоть мир увидеть.

Я после таких разговоров наконец успокоилась окончательно.

Под крылом они у меня, и душа на месте. А приведет в дом бог знает кого — прощай, покой дорогой. Прощай, заведенный порядок! Или отпусти-ка ее на сторону... Тут ее холишь-холишь, лелеешь — вдруг неизвестно кто на нее права заявлять начнет. Еще и бить, пожалуй, станет. Я по газетной почте сужу — сколько угодно таких случаев. Но жалоб от женщин сколько идет, жалоб-то!

Да вот моя соседка, Майя Сергеевна, выдавала дочь замуж. Сперва в гости друг к другу сватья ходили: улыбки, шампанское по праздникам. Потом жалуется в слезах: дочку там зашпыняли — подай, принеси, приготовь. Она у мамы жила как за каменной стеной, ее бы постепенно к хозяйству приучать, а там крик, насмешки: «Брехать — не пахать! Помелькай с утра немного на кухне, пока муж на работу не ушел. Днем отоспишься, чего тебе сделается?» Ну зачем это беременной женщине?

Да кого ни взять, одна история. Спрашиваю литсотрудника нашего, Диму из отдела информации:

— Чем дело кончилось? Развелся-таки?

Говорит:

— Любовь присудить нельзя!

Во-во, на фразу они горазды, а жизнь вместе прожить — толку нет.

Ах, дочечки-дочечки, живите-ка спокойно. Все только для вас. Конечно, есть люди обеспеченнее, но мы за ними не гонимся. Лишь бы вам хорошо было.

Улетите из своего гнезда — а там? Уж на что наш папа золотой, покладистый, все в дом, все в семью, а чего мне это стоило? Сколько лет я с ним промаялась, прежде чем отучить его от рыбалки, от охоты, от шахматного клуба, от всяких друзей... Сколько нервов извела, пока он в хозяйстве помогать стал. Пусть хоть теперь отдохнет на славу. Теперь дочери — помощницы.

Смотреть на них да радоваться. А живешь рядом с молодыми — и сама не стареешь.

Заклятые друзья

После недели поисков я нашла-таки квартиру для Зины. Хватит. Пора нам наконец и расстаться...

Я шла с Третьей Завокзальной улицы и только теперь, по дороге к автобусной остановке, заметила, что час уже поздний. Зимой во времени плохо ориентируешься.

И опять поймала себя на том, что размышляю о Зине, как это часто бывало со мной по дороге на работу или домой, даже в поездках, которые теперь выпадали лишь изредка. Я замечала, что думаю о ней даже во время чтения, забыв о книге и глядя в пространство бессмысленно.

И вспоминаются ведь именно пустяковые, мелкие ссоры, ерунда какая-то!

Что за характер у нее? Соберет кучу белья в стирку, тянет-тянет, откладывает со дня на день, так что зайдешься сердцем да и выстираешь сама. Она, конечно, недовольна: зачем, кто просил? Как будто я просьб ее дожидаюсь.

Деньги тратить не умеет, вещи не бережет — ну да, легко досталось — не жалко бросить. А мне чего стоит найти ей модную одежду...

Нет, довольно. Нельзя же сводить жизнь к взаимным придиркам, к состоянию хронического раздражения.

«Надо разъехаться,— подбадривала я себя на ходу.— Не век же так мучить друг друга. Уже тридцать четыре, а это вам не шутка. Это не Зинкины двадцать пять».

Можно было представить себе ситуацию еще до переезда Зины, обдумать, во что это выльется.

Тогда, давно, после утренней пятиминутки ко мне подошел наш главврач.

— Сестру привозишь, говорят?

Я еще слегка удивилась недоумению, которым поблескивали его глаза, и веско ответила: «Да». Кажется, за три года работы кое-какой авторитет у меня начал складываться, хотя меня и считали немного замкнутой, но тем не менее в коллектив приняли. Поэтому Аркадий Семенович запнулся, выбирая тон, а потом заговорил горячо и (как начальник) снисходительно:

— Мы зачем тебе комнату дали? Медсестры говорят: ты теперь «в седле»! А тут — новое дело. О семье надо уже думать. Извини меня, конечно, но у меня самого взрослые дочери — зачем жизнь осложняешь? Знаешь, какую обузу берешь?

Почувствовав прилив гордости за свой жертвенный шаг, превосходство над мешковатым, замотанным стариканом, я сказала (хотя и с некоторым отчаянием):

— Все уже решено. Спасибо, Аркадий Семенович, но советовать мне, пожалуй, поздно.

Вот так это все выглядело — глупо и самонадеянно!

Вспомнив давний разговор с главврачом, я даже сморщилась от досады и заставила себя сосредоточиться на происходящем. Надо ценить мелкие радости. Хорошо, что осталась

позади окраина, а здесь, у вокзала, много света, ходят трамваи. Заметишь, что жизнь продолжается,— и на душе легче.

Сначала я стояла в задумчивости на пятачке между сугробами, автобуса не было. Потом принялась прохаживаться по тропинке, глядя под ноги.

— Гуляете?

На утоптанном пятачке стоял невысокий плотный мужчина в драповом пальто, пыжиковой потертой шапке и поглядывал на меня. Лица его не было видно, да оно и не интересовало меня.

Судя по голосу, ему было лет сорок пять.

— А я вот... домой еду.— Тон у него был выжидательным, изучающим.— Прошелся по городу, а сейчас — домой...

Я поежилась и стала смотреть в сторону, так что оказалась теперь лицом к дороге, а незнакомец продолжал говорить где-то сбоку.

Пора мне покупать новое пальто. Определенно, это уже слишком вытерлось, и воротник из ламы потерял прежнюю пушистость, потому что я стираю его каждый месяц и расчесываю массажной щеткой. Да и шапка свое отслужила. Как раз недавно мне предложили отличную шапку из кусочков песца, но Зине нужны сапоги, и мы с ней откладывали деньги третий месяц. Я даже не посылала ее в магазин за продуктами. Зина не умеет считать сдачу...

Если уж говорить правду, мне даже приятно было соседство незнакомца. Он отвлекал от тяжелых размышлений.

— Так, значит, не хотите разговаривать?—

бубнил рядом незнакомец, притопывая ногами от холода.— А то, может, ко мне давайте поедем? Я человек одинокий. Хотя семья еще и у меня может быть... Мне еще сорок четыре года. Посидим просто... Чаю попьем.— Он изучающе на меня поглядывал.

И я утешила себя тем, что выгляжу не так уж плохо, даже в старом пальто. Я умею ухаживать за подержанными вещами. Кроме того, у меня прямая спина, красивая осанка. А морщин в темноте не видно.

Незнакомец продолжал увереннее:

— У меня чисто. Приходит одна, убирает. Я ей плачу тридцать рублей, так она и почтовый ящик с мылом моет. Мне порядок подай! А сейчас женщины какие? Станет другая ящик мыть? Да они теперь руки-то не каждый день моют!

И он принялся рассказывать что-то тягуче-однообразное о тех, кто жил с ним, случалось, обворовывал его, частенько вымогал деньги, так что после их изгнания поденную работу опять выполняла приходящая верная и безропотная старушка. «Даже ящик мыла».

А мои мысли благодаря его откровениям приняли новый оборот.

Может быть, Зина упорно уклоняется от домашних дел, потому что не чувствует себя хозяйкой комнаты? Она, конечно же, понимает, что живет в коммуналке, где и старшая-то сестра должна кошку соседей называть по имени-отчеству. Здесь комната на двоих — не самое удобное помещение для того, чтобы отвоевывать себе площадь. Отделить ее ширмой, как показывают в кино, значит, нарушить сложившийся интерьер. А я уже не в том

возрасте, когда легко меняют привычную обстановку.

Конечно, ей хочется найти свой угол. Есть психологическое пресыщение другим человеком. Хочется и одиночества в конце концов. Наверное, поэтому Зина старается поменьше бывать дома. Смирилась и с моими требованиями: вещей не разбрасывала, не перекладывала их с места на место. Однако и полы не мыла, и в магазин отправлялась после длительных уговоров.

Я глянула на соседа. Он продолжал разглагольствовать о нынешних неумехах, клеймил их позором, и, кажется, я ему даже сочувственно покивала.

Вот Зинка однажды плохо выстирала кофту, и носить ее стало невозможно — полочки вытянулись, петли пуговичные потеряли форму. В другой раз разбила подаренную мне коллегами-врачами чашку. И после этого, стала я замечать, мы разговаривали с ней о хозяйственных делах с раздражением.

Вернее, я начинала разговор с терпеливой усмешкой — тогда Зина замыкалась, надувала красивые пухлые губки и, вскинув голову, демонстративно отправлялась к креслу. Листала учебник. Она третий год не могла поступить в институт. Неудачи ее ожесточили.

Если же я делала ей замечания в повышенном тоне, она отвечала просто-таки грубостью.

«И как воспитывать чистоплотность?— думала я, притопывая от холода.— Если ни ванны, ни рукомойника, а по утрам — очередь к кухонной раковине. Если белье стираю в прачечной, верхнюю одежду чищу сама, а Зине

остается только слегка разгладить уже готовые «на выход» юбки и платья, да и то — под настроение».

Между тем незнакомец, воодушевленный моими односложными ответами, начал поиски контакта в ином направлении. В конце концов, только ругать женщин тоже нельзя, можно пробудить в них кастовое чувство, и успеха тогда уж не жди. Из солидарности обидятся — так он, видимо, решил. И осторожно пояснил, что не может избавиться от скверной привычки. Понимает, что ругаться — плохо, а положительного женского влияния нет.

Однако это извинение впечатления на меня не произвело, и он снова оказался в тупике.

Автобуса все не было. Я с беспокойством подумала, что, если б при нашей «беседе» присутствовал кто-нибудь еще, это выглядело бы неприглядно. Вечно я попадаю в нелепое положение!

Вот и прошлым летом. Решила, что нам с Зиной давно пора отдохнуть друг от друга, достала путевку на юг, в дом отдыха. Мы спокойно поговорили, Зина согласилась во время отпуска поехать в деревню, к родственникам матери. Но в последний момент я поняла, что отдых станет мне в тягость при мысли, что Зина где-то скучает и завидует моей поездке. Да она и не умеет жить одна, привыкла, что я ее развлекаю, приношу книги, хожу с ней в кино... Я поняла, что отдыха не будет, и взяла ее с собой. И мы друг другу мозолили глаза еще и в Гурзуфе.

Вообще я стала легко раздражаться. За-

метила, что сама провоцирую непослушание сестры своей нетребовательностью, готовностью к ее резкому ответу, а насмешливой интонацией вывожу ее из себя. Однажды Зина даже бросила мне упрек, что с возрастом я становлюсь злее. И тут же нанесла новый удар, с сочувствием спросив, не замечаю ли я сама, что характер мой с годами заметно портится...

Конечно, я вспылила. А кто бы удержался? Я ответила, что не последнюю роль играет тут наше совместное проживание. Зина мгновенно обиделась и сказала, что при первой возможности уйдет в общежитие. Но на работе ей отказали, хотя выдали дотацию на квартирную плату и посоветовали искать жилье. Нельзя сказать, чтобы Зина занималась этими поисками. Уже полгода прошло, а пока о переезде сама она и не заговаривала.

И вот последний скандал. Я все обдумала — хватит! Довольно. Долго я сдерживалась. Может, и раздражительность у меня появилась поэтому: терпишь-терпишь, молчишь-молчишь, копишь в себе — вот и нахлынет вдруг разрядка. А Зине, конечно, как гром среди ясного неба — сам повод ведь не стоит таких извержений.

Несправедливой считает. Но последнюю ссору можно ли считать незначительной?

Пришел с Зиной незнакомый парень. Лицо у него правильное, но какое-то пустоватое: глаза блуждали, не задерживаясь на книжных полках, на репродукциях, на пластинках в ярких пакетах... Интереса к жизни на его лице не читалось.

О себе сказал только, что собирается посту-

пать на экономический факультет университета. С Зиной познакомился на подготовительных курсах.

Посматривая на нас с опаской, Зина хлопотала у стола, варила кофе, делала бутерброды и, видимо, решила тряхнуть хозяйственными способностями. А я вела осторожный разговор. Хотелось всего лишь узнать, насколько серьезно он относится к Зине. Парень отвечал холодно, кратко и после каждого ответа спрашивал:

— Ну что еще? Еще вопросы будут?

Поставить диагноз было нетрудно: примитив с большими претензиями, и я со страхом поглядывала на сестру, уж очень она старалась понравиться, и слишком уверенно держался парень. Я даже заискивающе предложила свою помощь в приготовлении ужина, но Зина отказалась. Она была в упоении от собственной роли хозяйки. А кроме того, «ты хотела, чтобы мы расстались,— раз я не нужна, я готова уйти с кем угодно...»

Я еле дождалась, когда за гостем захлопнется дверь, и приступила к основательному разговору. Что это, в самом деле? Без прежней насмешки, без желания уколоть спросила Зину, есть ли у нее планы и насколько серьезно относится она к своему знакомому.

— Тебе не все ли равно?— отстраненно ответила Зина. Она устала от непривычной и ответственной роли взрослого человека.— Я же не хочу тебя стеснять, вот замуж выйду — и живи одна на здоровье!

Тут Зине, кажется, всерьез стало жаль себя, и она была готова поверить, что может выйти за него. А я не на шутку разволно-

валась — так вот к чему свелось дело! До сих пор жертвой наших отношений оказывалась я, а теперь, значит, все менялось? Теперь уж Зина готова поломать свою судьбу ради моего возможного благополучия. Красивая, молодая и... несчастная моя сестрица?

— А почему он не поинтересовался, собираешься ли ты вообще замуж? Откуда такая самонадеянность? Будто ты без него прямо-таки пропадешь?

Зина выразительно посмотрела на меня, и я похолодела от враждебности взгляда. Она пожала плечами: что ж тут не понять?

— Ты хочешь сказать, что ваши отношения далеко зашли?— уже уверенная в ее ответе, спросила я.

— Да успокойся,— лениво ответила она.— Не пойду я за него. Ему же все «до фени». Только бы диплом получить. И жениться он собирается лет на пять, чтоб не снимать квартиру.

Тогда я принялась смеяться. Я хохотала и сама как будто слушала себя со стороны. Эти длинные периоды захлебывающегося смеха сначала озадачили Зину, которая, наверное, готова была к нравоучениям. Потом смех у меня перешел в плач, и она опомнилась. Об истериках Зине приходилось читать. Она живо принесла мне стакан воды. Я видела, что ей нравится роль утешительницы. А я уж как-нибудь без утешений справлюсь! Я оттолкнула ее руку и с неожиданной для себя злобой сказала, что ничего мне не нужно. И единственная просьба: никогда не приводить в дом этого человека, и вообще никого не приводить!

— Тебе просто завидно!— закричала Зина

истерично.— Что ты меня мучаешь? Сама не живешь — так дай мне хотя бы!

— Это по-другому называется,— сказала я.

После истерики голос стал монотонным, тихим, дрожащим, но Зине было не до интонаций. Я и сама могла лишь улавливать смысл ее упреков, достало б сил продержаться до конца разговора.

Наверное, чувствуя мою усталость, Зина не поверила, что я смогу бросить ей в лицо оскорбление.

— Ну как? Скажи, как это называется?

А услышав, поняла, что в наших отношениях что-то оборвалось. Зина погасла и, уже без желания обидеть, на исходе ссоры, проговорила только для того, чтобы последняя фраза осталась за ней:

— Да уж лучше так жить, чем... чем быть никому не нужной!

И тогда я решила — хватит. Все. Довольно. У меня возникло сильнейшее искушение причинить Зине боль и мелькнула мысль, что теперь я стану придумывать способы мелкого, недостойного мщения. А так и всю жизнь можно свести к борьбе друг с другом.

Надо разъехаться.

Замечательно — я буду жить одна! Как в первое время после получения комнаты, еще до переезда Зины. Тишина. Свет настольной лампы, за окном непогода для полноты восприятия жизни. Радость сиюминутного существования. И хорошая книга. Что еще?..

Неделю, пока я искала комнату, Зина была примерной сестрой. Она даже посуду мыла сразу после еды, чего я не могла добиться от нее годами внушений и скандалов. На примирение

она, наверное, не рассчитывала и потихоньку складывала в чемодан вещи. Перестирала кое-что из белья. Перевязала стопку книг бечевкой, подложив прокладки из картона...

...Внезапно мне пришла мысль: может быть, это я должна снять комнату? Пусть Зина остается в старой квартире, где все обжито... Ей ведь не приходилось начинать самостоятельного существования. Трудно будет.

Картины, проплывающие перед моим мысленным взором, когда я шла с окраины, померкли. Я представила, как разбужу сегодня же сестру, дам ей адрес, завтра отведу ее «на смотрины», послушаю их разговор с хозяйкой... Теперь это все представлялось мне бесцветным и глупым.

Уже полчаса я слушала своего приставалу-соседа. Неожиданно подумалось, что и Зина будет так же стоять на этой остановке, возвращаясь с подготовительных курсов...

И мне показалось, что без Зины, без наших ссор и разговоров, без упреков и проблем жизнь моя поблекнет и станет совершенно бессмысленной.

Приветливо светясь окнами, вынырнул из переулка автобус. «Поклонник» что-то еще говорил, а я уже шагнула в тепло автобусного салона и подумала, что Зина, наверное, не спит. Я не предупредила ее. Ждет, наверное, волнуется...


АЛЛА СЕЛЬЯНОВА
СТРАННИКИ

День на свежем воздухе

В воскресенье решили поехать по грибы. Август стоял сухой и жаркий, и Лида слышала, что грибов в лесах нет, но Владик сказал, что все это ерунда, потому что самые грибы только в августе и бывают.

Владику было двадцать восемь лет, Лиде девятнадцать, и если муж что говорил, то она верила ему, а не другим.

Этой поездке Лида очень обрадовалась — они впервые за все время выезжали на природу, и не грибы были ей нужны, а просто хотелось поскорее очутиться в каком-нибудь большом и таинственном лесу и, может быть, даже заблудиться, плутать, а к вечеру выйти из леса с охапкой цветов, уставшей и все равно радостной.

Тут ей пришло в голову, что хорошо бы взять с собой и братьев, близняшек Мишку и Борьку, ведь им тоже будет интересно и ново — кто их особенно в лес-то вывозил?

— Владь,— сказала Лида возбужденно и радостно,— давай и ребят моих возьмем!

— Нечего,— ответил Владик, чинивший ручку у корзины,— мы, может, километров двадцать пройдем, сами вымотаемся, а они-то уж точно не дойдут.

— Да как не дойдут, по двору с утра до ночи шастают, не устают, а тут...

— Вообще можно,— неожиданно согласился Владик,— мы тогда в Медведково зайдем, покупаемся. Только чтоб корзины с со-

бой взяли. И еды набрали — целый день все ж.

— Ой, тогда я сейчас быстро домой съезжу!— она уже подошла к двери, но муж ее остановил:

— Скажи, чтобы обязательно сапоги надели и куртки. Ножи перочинные и воды пусть возьмут, а завтра в семь как штык стояли на остановке — мы на троллейбусе будем проезжать, тогда я им крикну. А если вовремя не придут, то дома останутся и никакого леса не увидят.

Лида кивнула и поехала.

Через час она вернулась. Две корзины, готовые к отъезду, стояли в коридоре, а Владик сидел на кухне и что-то делал с большим полиэтиленовым пакетом: срезал горлышко от старого пузыря из-под шампуня и теперь приматывал его нитками к пакету.

— Видишь,— сказал Владик,— и никаких бутылок не нужно. Бутылка — что? Кончилась вода, она лежит и только место занимает, а так воду выпил, пакет сложил — и нормально.

— А не протечет?— спросила Лида.

— Не протечет. Пакет новый взял, пробку насмерть примотал. Зато смотри, сколько воды влезет, литра два. Не выпьем — выльем. Я еще патент за это дело получить могу.— Владик как-то серьезно призадумался,— надо описание сочинить и послать.

Патенты Владика интересовали давно. Год назад он кончил вечерний стройфак, теперь работал начальником участка и там, на стройке, целыми днями присматривался ко всяким мелочам — как бы их изменить, чтобы удобней было. Два его предложения уже внедрили, и у

Владика в столе лежали значок и удостоверение рационализатора.

Затея с пакетом показалась Лиде такой простой и славной, что она подскочила к мужу и обхватила его сзади руками, обвила шею и поцеловала в затылок, в жесткие, пахнущие пылью волосы.

— Ну-ну,— счастливо и сдержанно проговорил Владик, освобождаясь из ее объятий,— ты давай собирайся, сегодня пораньше ляжем.

Но собирались они долго, до полуночи. Нужно было все сделать так, чтобы утром только встать — и сразу в путь. Лида наварила яиц, нажарила котлет, помыла помидоры. Она решила взять еды на всех. Ей как-то стало неловко, что братья должны есть отдельно, как чужие, и поэтому там, дома, она про еду матери ничего не сказала.

Потом она долго выбирала себе одежду — все, что могло быть удобным в лесу, было старым и некрасивым — спортивный костюм, оставшийся еще от школьных занятий, был растянут, кеды разношены — а ей завтра, в такой чудесный зеленый день, хотелось быть легкой и прелестной, чтобы Владик, глядя на нее, порхающую меж деревьев и цветов, любил все больше и больше и постоянно думал про себя, какая чудесная, юная и ловкая жена у него. И она отобрала на завтра пышную клетчатую юбку, чуть прикрывающую коленки, веселый красный джемпер, в котором ходила на работу и который жалко было таскать зазря — но в такой день можно, а к этому джемперу — замшевые ботинки на шнуровке и без каблука. Она наденет толстые полосатые гетры и тогда будет как настоящая девчонка с кар-

тинки из журнала, играющая на зеленой траве в гольф или во что-то там еще.

Она все это представила уже лежа в кровати и заснула так незаметно, что видения из завтрашнего дня перешли в сон, где она то находила какие-то гигантские грибы, то видела себя словно со стороны, мелькающую в красном джемпере за толстыми стволами елей.

Владик сидел в это время на кухне и точил ножи, которыми, как было написано в книгах, обязательно нужно срезать грибы, чтобы не испортить грибницу.

Встали они, когда прозвенел будильник, ровно в шесть, и как это обычно бывает с людьми, немного недоспавшими, молча позавтракали, еще не придя в себя, но когда вышли на пустую воскресную улицу — сразу очнулись от легкого прохладного ветерка, от яркого желтого солнца, залившего асфальт. Захотелось куда-то торопиться и даже запеть какую-нибудь песню.

Дворничиха оглядела их с ног до головы, покосилась на корзины и приветливо улыбнулась.

— Али за грибами собрались?— спросила она, опершись на метлу.— Мой дед аж под Белев ездил, ничего не привез. Сухо, говорит, весь лес сухой...

— А мы не под Белев,— сказал Владик,— мы свои места знаем.

Дворничиха кивнула уважительно и взялась за метлу, а они пошли к остановке.

В троллейбусе было пусто, только в другом конце — стояли двое мужчин, тоже с корзинами. Владик уселся и стал тихо рассуждать, куда едут эти двое.

— Да пусть даже и туда,— сказала Лида,—

лес большой, на всех хватит. Ты лучше билеты возьми, у меня мелочи нет.

— Сидишь — и сиди. Контролеры еще сны не досмотрели. И воскресенье сегодня.

Лида никогда не ездила без билетов — не то что ругани боялась, а просто какая-то совестливая была, но тут подумала — и согласилась с мужем.

Когда подъехали к остановке, на которой должны были стоять братья, там никого не было.

— Нет их,— растерянно сказала Лида,— давай выйдем.

— Нечего-нечего,— Владик даже за руку ее схватил,— проспали — и ладно.

Но Лида вырвала руку и выскочила из троллейбуса, ее чуть дверью не прихлопнуло. Шофер испуганно тут же опять открыл двери, и тогда Владик тоже вышел, с очень сердитым лицом.

— Какого черта?— сказал он.— Сейчас автобус уйдет, тогда жди два часа. И все из-за этих гавриков.

— Эти гаврики мои братья,— ответила Лида обиженно и тут же смягчилась,— Владь, мальчишкам тоже интересно. Их, наверное, мама задержала, она же, сам знаешь, какая хлопотливая.

В этот момент из-за угла дома показались близнецы. Они бежали к остановке во весь дух, корзины били по бокам, а на ногах у них были большие, хлопающие на каждом шагу сапоги — им вечно все покупали на вырост.

— Мать возилась-возилась,— еще издали закричал Борька,— это из-за нее все!

Они остановились, отдуваясь, и Мишка немного спрятался за спину более смелого Борьки.

— Все взяли?— строго спросил Владик.— А куртки где?

— Взяли, взяли,— Борька ткнул пальцем в свою корзину.

— Так наденьте.

Они послушно достали куртки, большие, словно с чужого плеча, и надели их, хотя надевать их было незачем — утренний ветерок стал стихать, а солнце пригревало все сильнее.

На троллейбусе доехали до окраины города, где нужно было делать пересадку на загородный автобус.

Автобуса не было — он уже прошел, и Владик вышел на дорогу — голосовать. Так они стояли довольно долго, машин не было, а те, что проносились мимо, были с людьми. На них стояли большей частью московские номера, потому что шоссе связывало столицу с югом.

В конце концов удалось остановить «коробочку», где сидели рабочие. Те потеснились, и Владик с Лидой поместились на сиденье, а братья сели на какой-то зеленый ящик.

— Вы докуда, братцы?— спросил Владик у рабочих дружелюбно, но немножко снисходительно, как он разговаривал у себя на стройке.

— Мы к Богучарову, дорогу ремонтировать,— сказал рабочий, который сидел ближе к ним.

Остальные только оглянулись и тут же отвернулись равнодушно. Они все были немолодые и почему-то хмурые.

— Вот видишь,— сказал Владик, обращаясь не столько к Лиде, сколько к братьям,—

не туда едем. Теперь надо на повороте сойти и лесом крюк дать, чтобы к Медведкову выйти. Возились бы больше.

Мишка нагнул голову, а Борька, ничуть не смущаясь и даже сердито ответил:

— Мать завозилась, а не мы.

Владик от него отмахнулся и стал искать взглядом, с кем бы ему поговорить, вызнать про грибы. Но рабочий, что сидел рядом, тоже отвернулся к окну и так о чем-то сосредоточенно думал, что Владик не решился его тревожить. Мишка дремал, прислонившись спиной к брату, а Борька исподтишка, но пристально рассматривал Владиковы «кроссовки», легкие, красные с белыми полосками и с надписью на заднике.

«Коробочку» подбрасывало, они ехали уже по расшарканной проселочной дороге, но Лида дремала, не замечая толчков, и голова ее лежала на мужнином плече.

Когда доехали до нужного поворота, Владик попросил остановиться, и спрыгнули на землю. Шофер не трогал автобус, дверь была открыта, а Владик стоял внизу и отряхивал свои джинсы. Шофер глядел на него выжидающе, но Владик счистил последнюю, невидимую соринку и сказал, весело глядя шоферу в глаза:

— Ну, брат, спасибо. С богом!— и захлопнул дверцу.

Шофер сказал что-то сквозь зубы и сразу дал газ — автобус помчался, прыгая на колдобинах, как разъяренный зверь.

Лида молчала, а Владик засмеялся почему-то и сказал бодро:

— В путь!

— Что ж ты ему и рубля не дал?— спросила Лида укоризненно.— Столько ехали.

— А что это, общественный транспорт, что ли? Все равно по пути вез. Нечего в русском народе холопов разводить,— Владик попрыгал, как бы разминаясь, и взялся за корзину.— А то привыкли.

И пошел по дороге, прямо навстречу солнцу. Братья тоже потопали за ним, горячо обсуждая, снимать ли им куртки сейчас, потому что уже жарко, или оставаться в них, потому что в лесу еще роса. Лида шла сзади и чувствовала в душе какой-то стыд за случай с шофером: не по-человечески как-то получилось — ехали-ехали, а рубля пожалели.

Но тут они начали продираться сквозь плотный кустарник, окутанный паутиной, а потом вошли в лес, высокий и старый, с папоротником и кустиками костяники под ногами, и Лида забыла про шофера. Она вдруг почувствовала себя девчонкой, стала прыгать и перебегать от дерева к дереву, касаясь стволов, и братья смотрели на нее радостно и влюбленно.

— Ножи доставайте,— сказал Владик, тоже смеясь от какой-то внутренней радости и возбуждения,— раз папоротник, значит, белые пойдут. И на пнях смотрите, опята должны быть. Они кучками растут — на целую корзину иногда хватает. И шеренгой надо встать — что мы, как бараны, стадом идем.

Разошлись. Лида пошла метрах в десяти от Владика, слева от нее Борька, а дальше, так что почти и не видно было, плелся Мишка. Мишка был ленив и задумчив от природы, корзина казалась ему громоздкой и тяжелой, он перекладывал ее из руки в руку и гля-

дел не в землю, а по сторонам, изучая какие-то наросты на стволах, дупла и муравьиные кучи.

Так они шли довольно долго, лишь изредка переговариваясь, и сначала Лида чувствовала даже какой-то азарт — ей казалось, что именно она должна найти первый белый, но никаких белых не было, только Борька нашел на пне кучу поганок и созвал всех, думая, что это опята. Азарт прошел. Побрели уже не так весело и без радостного ожидания. Владик закурил на ходу, и дым от его сигареты доносило до Лиды.

— И охота в лесу курить!— крикнула она ему.— Воздух-то какой.

— Лес пустой,— ответил ей Владик,— я сразу не вспомнил, а где одни осины растут, то уж ничего особо не жди. Вот выйдем, где дубы да березы, там и грибы пойдут.

— А когда выйдем-то?— спросил Борька.— Уж идем-идем, а все ничего. Заблудились, наверно.

— Ты не ной,— остановил его Владик,— я эти места как свои пять пальцев знаю. Я здесь таким шкетом, как ты, все облазил.

— Что ж ты, каждое дерево, что ли, помнишь?

— Ты, главное, не ной, а иди. Со мной не пропадешь. Я по солнцу ориентируюсь — вошли в лес, оно справа было, вот так и надо все время идти, тогда придем куда нужно.

— А куда нужно?— допытывался Борька.

— В Медведково идем. У меня там бабка отцовская жила. Пруд есть, искупаемся. К знакомым можно зайти.

Борька, услышав про пруд, оживился, под-

нял какую-то хворостину и стал на ходу сшибать листья с кустов.

Замшевые ботинки у Лиды промокли от росы, и гетры стали влажными. Она уже жалела, что не оделась по-лесному, джемпер и юбку облепила паутина, а Владик шел себе, покуривая, и ни разу почти в ее сторону не взглянул. Лида, как и Борька, обрадовалась напоминанию о Медведкове и о пруде, потому что лес, однообразный и какой-то нерадостный, уже начал ее утомлять. Ровные, желто-серые стволы осин мешались изредка с одинокими березками, встречались поляны, окаймленные кустами, но, сколько они ни шарили палками в этих кустах, ничего так и не находили.

Потом начались частые глубокие овраги с ручьями-болотами внизу, и их приходилось переходить по поваленным стволам, балансируя на ходу. Мишка, самый осторожный и шедший позади всех, два раза свалился, измок и изгваздался в желтой жиже. Потом стали попадаться старые, скругленные временем окопы и воронки, и ребята сначала взялись прыгать в них в надежде найти хоть какой-нибудь след от давних боев, но Владик им запретил.

— Подорветесь — будете знать,— сказал он,— у нас один парнишка подорвался.

— Не подорвемся,— возразил ему Борька,— а подорвемся, так уж ничего знать не будем.

Но прыгать больше не стали.

Мишка опять поплелся в стороне, тихо и задумчиво глядя вокруг.

— Лидка, Лид!— раздался Борькин голос.— Гляди, чего я нашел!

Лида подошла к нему и увидела на трух-

лявом, лежащем на земле стволе словно какие-то ростки, нежные и белые, как снег. Они сидели тесной кучкой, и каждый росток словно был обсыпан инеем. Казалось, притронуться нельзя к ним без того, чтобы они не растаяли. Борька смело оторвал их от ствола и пощупал.

— Это лишайник,— объяснил подошедший Владик.

— Нет, это «оленьи рожки»,— поправил его Мишка.— Их есть можно, только нужно долго варить.

— Вот и ешь,— Владик засмеялся, а за ним Борька,— отдай ему, пусть дома сварит.

Мишка, взяв «оленьи рожки» в руки, долго и внимательно их рассматривал и нюхал, а потом осторожно положил на дно своей корзинки. Лида посмотрела на Мишку, над которым сейчас смеялись. Она знала, что Мишка читает много всяких книг и все основательно запоминает, но поверила все-таки Владику.

— Возьми, возьми,— сказала она в утешение Мишке,— его дома можно поставить в вазочку, как цветок будет.

Мишка ничего не ответил.

Шли еще минут сорок, никаких полян не было, зато вдруг наткнулись на огромный, высокий глиняный холм. Он словно вырос вдруг посреди леса, чуть поросший низенькой травой и розоватым мелким клевером, и целиком состоял из темно-оранжевой глины. Они все удивились и полезли на него, потому что обходить было довольно долго. Сухая глина осыпалась под ногами, они скользили, но в конце концов, цепляясь за траву, все-таки залезли на самый гребень.

По ту сторону лежало то ли болотце, то ли озерко с чистой спокойной водой, окруженное по берегам камышом с бархатными коричневыми початками и освещенное солнцем.

Они все замерли, очарованные этим странным и неожиданным зрелищем. Лениво летали тонкие голубые стрекозы, едва касаясь острых листьев камыша. Борька, оттолкнувшись обеими ногами, съехал прямо к озерку и, радуясь высоте своих сапог, полез в воду за коричневым початком.

— Борь, не надо!— закричала Лида.— Не надо, все равно же бросишь!

Но Борька так и не смог дотянуться до камыша.

Они присели на берегу, глядя на порхающих стрекоз, и Лиде так хотелось, чтобы все немного помолчали — она еще никак не могла отойти от первого ощущения, но Владик с Борькой поднялись и пошли вокруг озера, стараясь понять, есть ли в нем рыба.

— Рыба должна быть на глубине,— уверенно сказал Владик.— В таких озерах всегда бывает.

— А кто ее сюда занес-то?— Борька и рад был бы согласиться, но очень странно было, чтобы где-то посреди леса оказалась рыба.

— Икринки сюда попадают по подземным потокам,— пояснил Владик,— озеро-то не само по себе появилось.

— Но чего-то не плещется,— Борька поднял кусок глины и шарахнул им по глади воды,— если б была, плескалась.

— Спит, а к вечеру, может, и заплещет.

Владик мог ответить на любой вопрос, как

будто не было в мире ни одной тайны, на что ответить нельзя.

— Владь, а почему здесь холм этот взялся? Откуда?— спросил неугомонный Борька.

Владик лишь на секунду замешкался, окинул взглядом длинный холм.

— Дорогу начали строить и бросили.

И Лида вдруг рассмеялась, так, что все на нее удивленно оглянулись. Она знала очень мало и, когда спрашивала Владика про непонятные ей слова — «конгруэнтный» или «метафизический», он мог ей объяснить что угодно, потому что все равно эти слова ни о чем ей не говорили и даже намека на что-то известное не содержали.

Лида думала, что конца и края уже не будет их дороге — она шла, морщась от боли, которую ей причиняли ставшие вдруг маленькими ботинки, но боялась спросить у Владика, когда же все это кончится, потому что они шли, давно позабыв, с какой стороны у них солнце и с какого края они вошли в этот лес.

Про грибы забыли — лишь изредка, когда кто-нибудь находил сыроежку или свинуху, вспоминали о цели своего похода, но тут же и отвлекались, а все найденное складывали во Владикову корзинку — он сказал, пусть лежат в одном месте, так меньше помнутся.

Тот скучный и одинаковый лес, по которому они шли с утра, кончился неожиданно — вдруг где-то впереди обозначился просвет, деревья стали редеть — и открылось громадное поле, кое-где обросшее островами кустов над неглубокими оврагами. Поле уходило вниз по гигантскому косогору, и с опушки леса было видно далеко, до самого горизонта — желтые

заплаты созревшей пшеницы, белая дорога, вьющаяся как река, далекие полоски лесов, и где-то справа виднелись еле различимые среди садов крыши деревеньки и куполок церкви, одиноко возвышающийся под большим голубым небом.

Борька, заметив деревеньку, сбросил куртку и, радостно прыгая на одной ноге, завопил:

— При-шли, при-шли, при-шли!

До деревеньки, на глаз, было километров пять.

Владик растерянно оглядывался, не узнавая знакомых мест, потом заметил усталое, потное лицо Лиды, Мишку, прислонившегося к дереву, и предложил устроить привал.

Лида со вздохом облегчения тут же села, расшнуровала ботинки и стала растирать опухшие ноги.

Потом расстелили газеты, кусок клеенки, предусмотрительно захваченный Владиком, и разложили припасы. Братья достали лососевые консервы — мать сунула — и приступили к еде. Лида старалась сама есть поменьше, все подсовывала братьям и Владику, говоря, что от усталости и аппетит пропал.

— Лучше попить дай,— попросила она.

Владик полез в корзину и крякнул от огорчения — воды в пакете было лишь на самом донышке. Пакет прокололся ножом.

— Вытекла,— сказал Владик расстроенно,— вот собака.

Мишка полез в свою корзину и достал солдатскую фляжку — такие им с Борькой принес отец, когда еще не уходил из армии в запас. В фляжке был кисленький смородиновый морс.

— Значит, такой пакет не подходит,— сказал Владик,— надо еще что-то придумать.

Он улегся на траву и, глядя на листву дуба, склонившегося над их столом, задумался о своем.

— Мишка, глянь, здесь молотилка какая-то! — Борька сорвался и побежал к серому прошлогоднему стогу посреди пшеницы. Мишка заинтересованно глянул вперед — и тоже побежал вслед за братом.

Когда они отбежали довольно далеко, Лида тоже прилегла и положила свою руку на Владикову.

— Хорошо-то как,— сказала она тихо, гладя его палец с обручальным кольцом.— А то все сидим и сидим дома...

Земля, на которой она лежала, была теплой и нежной, Лида всем телом чувствовала, как эта земля живет под ней, дышит и переливает свои внутренние соки, распределяя их поровну между всем, что породила,— каждой мелкой травинкой, и кукушкиной слезкой, тихо и печально покачивающейся на ветру, и этим громадным дубом, изъеденным гусеницами. Тонкий паучок, наращивая нитку, медленно спускался с высокой ветки, то, словно задумываясь о чем-то, то вдруг начиная поспешно работать.

— Говорят,— сказала Лида, не сводя глаз с паучка,— что в земле есть такие места, что где полежишь — силы прибавится, а на другом полежишь — и заболеешь.

— Кто говорит?— сонно спросил Владик.

— Девчонка одна на работе. Она сама из деревни, а ей бабушка говорила.

— Брехня все это,— Владик оперся на ло-

коть и вынул свою руку из Лидиной,— это вы там от безделья треплетесь, не знаете, чем и заняться. Земля везде одинаковая. Холодная — и есть холодная, сел — и замерз. Вот ты — чего легла, простудишься, а потом будешь по врачам бегать.

— Ребята далеко?— спросила Лида.

— Да вон, колесо какое-то крутят. Сейчас из деревни кто-нибудь пойдет, он им скажет пару слов.

— Поцелуй меня,— попросила Лида.

Она еще вчера думала о том, как они будут целоваться в лесу, под шелестящими деревьями.

Владик нагнулся и коротко, как капризного ребенка, поцеловал ее в висок.

— Эх, елки,— сказал он, беря в рот соломинку,— завтра опять на работу. Зиборов из треста приедет, опять втык даст.

Лида подняла голову и посмотрела, чем там занимаются братья. Их дикие крики разносились по всей опушке — Борька стоял на самой вершине копны и сталкивал ногой Мишку, который тоже хотел залезть наверх. Мишка падал и опять лез, цепляясь за солому и выдергивая большие пучки.

— Ну дадут им, как пить дать,— сказал Владик, тоже наблюдая за этой возней.

— Да старая солома, все равно сгнила.

— Сгнила-то сгнила, а порядок должен быть.

Лида удивилась — какой здесь должен быть порядок? Здесь все так просто и свободно — дорога петляла, как ей хотелось, а не рубила поля напрямую, как проспект, какие-то птицы,

играя в небе, взмывали ввысь и опускались до земли, и ее братья, прыгающие и кричащие на поле, так хорошо сливались со всем этим миром, что у нее даже не могло возникнуть мысли о порядке или непорядке, так легок и естествен был этот мир.

Она легла и прикрыла глаза.

— Я тебе во вторник пару чертежей притащу,— сказал Владик,— один малый попросил. На работе начертишь, все равно время попусту переводите.

Ему кажется, что он один только и работает, подумала Лида. А у нее последнюю неделю столько было работы, что весь день сидела за столом не разгибаясь. Она хотела ответить, но раздумала — и промолчала.

— Спишь?— спросил Владик.— Ну и спи.

И закурил. Лида еще некоторое время слушала, как он с присвистом выпускает дым, как по-прежнему кричат вдалеке братья и стрекочут невидимые кузнечики, а потом и в самом деле заснула.

Проснулась она от голосов, но ее так разморило от сна и жары, что и пошевелиться не было сил, и так, лежа с открытыми глазами, она слушала, как беседует с братьями Владик.

— Комбайнеры здорово получают?— спрашивал Борька.

— Здорово-то здорово, а вкалывают тоже дай боже,— отвечал Владик, сидевший между братьями, как учитель,— в грязи да в мазуте. Денежки, милый мой, заработать надо, их просто так не дают.

— И в деревне жить,— вставил Мишка,— скучно, наверное.

— И в деревне жить,— похвально подтвердил Владик.

— А ты сколько получаешь?— спросил Борька.

— Много. Так ведь мне тоже не очень сладко, весь день почти на улице торчу.

— Вот бы такую работу найти, чтоб денег побольше зарабатывать и работать не надо,— задумался Борька.— Вон у нас, у Сашки Марковского, отец на овощной базе директором работает. Сашка говорит, он — огурчиков зимой, а они ему чего хочешь.

— Вам тоже думать пора, где будете работать, через два года восьмой класс заканчиваете.

— Я на поезд машинистом пойду,— сказал Борька.— Они получают ужас сколько, и интересно зато — едешь по городам, только кнопки нажимаешь.

— Дурак ты еще,— насмешливо сказал Владик,— дитя неразумное.

— А я хочу в исторический институт поступить,— опять вставил свое Мишка,— я буду десять кончать.

— И будешь, как крыса, всю жизнь бумаги грызть,— сказал Владик.

— Владь, ну зачем ты так!— не выдержала Лида.— Что ты им все про деньги да про деньги. Любит человек историю — пусть занимается. Уж будто деньги — все.

— Можно сказать, что почти все,— ответил Владик и еще кивнул головой для убедительности.— Если б я приносил домой рублей семьдесят, ты себе босоножечки за пятьдесят не купила. Посмотрел бы я, что ты мне тогда говорила бы.

— Господи, да как тебе не стыдно!— воскликнула Лида и села. Упоминание про босоножки ее почему-то оскорбило.

Ребята настороженно слушали.

Владик словно что-то почувствовал в Лиде — а в ней как будто что-то повернулось, какую-то неприязнь к нему испытала она в этот момент.

— Ну да не в деньгах счастье,— сказал Владик, как бы подытоживая разговор, и встал, потянувшись,— посидели — и пошли дальше.

Лида, все еще взволнованная, стала натягивать ботинки, но так и не смогла их надеть.

— Тоже, пошла в поход,— сказал Владик,— ты бы еще босоножки надела.

Лида бросила ботинки в корзину и пошла босиком. Ноги утопали в дорожной пыли, мягкой и глубокой, и так еще было терпимо.

— Владь, а у тебя «кроссовочки» здоровские,— завистливо сказал Борька. Он так и говорил — «кроссовочки», как о чем-то красивом, ласкательно.— Вот бы нам такие. Дорогие небось.

— Ну ты кончай,— остановил его Владик,— ты давай поменьше о барахле думай. О другом лучше думай.

— О чем о другом-то?

— О другом,— ответил Владик, так и не найдя слова.

— Тебе хорошо говорить, а нам мать купила сапоги сорокового размера, а я, может, только до тридцать девятого дорасту.

Лида начала отставать от них, шла, глядя вперед, на куполок, призывно торчащий над

далекими крышами, и стала представлять себя странницей, какие раньше ходили вот так по пыльным дорогам, с котомкой за плечами, мерно постукивали посошком, и так от деревни к деревне, ночь застанет — переночуют где придется, а утром опять в дорогу. Эта жизнь показалась ей чистой и безмятежной — вот бы так хоть одно лето побродить, не думая ни о чем, не печалясь, идти и идти, оставляя за собой леса и поля. Лида вдруг даже загорелась этой идеей, которая показалась так легко осуществимой, но тут вспомнила, что отпуск у нее всего двадцать четыре дня, да и надо ведь кого-то с собой взять, чтобы поделиться впечатлениями — а кого? Владика она как-то не могла представить с котомкой и посохом, потому что весь свой отпуск он провел на родительской даче, с удовольствием поливая помидоры и окучивая картошку. «Летом поработаешь — зимой поешь»,— говорил он, и в его пристрастии к даче Лида видела только нечеловеческое трудолюбие и любовь к природе.

Еще не дошли до видневшейся уже совсем недалеко деревни, как повстречали стадо.

Мишка тут же спрятался за Лидину спину, а Борька, желая показать себя взрослым и храбрым, подошел к линялой бурой корове.

— Ну, встали,— сказал Владик и, подражая как бы голосу пастуха, крикнул зычно и грозно: — Па-ашла, так тебя!

Огибая стадо, ехал не спеша на низком веселом коньке и сам пастух — длинный, с морщинистым и коричневым, как подгоревший батон, лицом.

Время от времени покрикивая на коров,

он коротко и хлестко, умелым заученным жестом производил кнутом один и тот же звук.

— Дедуль,— ласково обратился к нему Владик,— ты нам скажи, как в Медведково пройти.

Пастух еще повертелся на своем коньке, щелкнул пару раз кнутом и спросил:

— Чево говоришь?

Владик повторил.

— Да вон Желдыбино,— пастух ткнул кнутом в деревеньку,— а Медведково за лесом. Вы откуда идете-то?

Владик уже и сообразить не мог, откуда они идут, показал куда-то за спину:

— От Богучарова.

— Эк махнули,— пастух покачал головой.

— Вот бы пастухом поработать,— с завистью глядя ему вслед, сказал Борька.

Пастух сказал о Медведкове так, словно оно было совсем рядом, но они опять шли по лесу скучно и долго, так что ощущение новизны и радостности дня окончательно в Лиде прошло.

Идти по лесу, по подсохшей, в корнях и кочках земле, было трудно, Лида тихо охала и несколько раз собиралась заплакать от беспомощности. Владик шел впереди, еще пытаясь искать грибы, которых не было, и только один раз на нее оглянулся, а ей так хотелось, чтобы он сейчас подошел и сказал что-то ласковое, погладил, поцеловал или хотя бы коснулся коротким любящим жестом. Но он не подходил, и чем дольше они шли, тем больше Лида чувствовала себя обиженной.

За лесом открылось небольшое, перепахан-

ное и уже успевшее подсохнуть поле, на другом конце которого виднелось Медведково.

По полю ползал маленький трактор, тянущий за собой высокий шлейф бурой пыли. Стали огибать поле, и когда дошли до оврага, у которого оно кончалось, трактор уже подполз к ним. Пыль поднялась густыми клубами, так что пришлось остановиться. Кто-то спрыгнул на землю с задка трактора, и, когда совсем просветлело, они увидели женщину, запыленную с ног до головы, и трудно было представить, молодая ли она, красивая, потому что сейчас она была как существо с другой планеты. Лида остановилась, пораженная этим зрелищем, а Владик кивнул женщине, как старой знакомой, и спросил:

— Не рано ли?

— Чево рано-то?— сказала женщина, у нее оказался звонкий, молодой голос.

— Пашете,— пояснил Владик.

— Да не рано,— женщина отмахнулась от него таким жестом, как будто заодно отмахивалась и от всего мира, и полезла в кабину к водителю.

— Чего ты спрашиваешь,— раздраженно сказала Лида,— а то они без тебя не знают.

— Потому что рано,— упрямо повторил Владик.— Я-то больше твоего понимаю.

Потом понял раздражение в ее голосе и взял у нее из рук корзинку:

— Ты давай держись. Вон голубая крыша с краю — мы сейчас к Татьяне зайдем, молока попьем.

— А купаться?— спросили братья в один голос.

— Купайтесь, если силы есть.

Оставалось только пройти поляну перед домом с голубой крышей, и Лида уж напрягла последние силы, но тут еще наступила на пчелу — взвизгнула истерично и села на траву.

— О-ой,— протяжно ойкнула она и заплакала, как ребенок, с короткими всхлипами — все, что копилось в ней, пока шла по лесу, нашло наконец выход.

— Лидок, что с тобой?— испугался Владик и тоже присел рядом.

— Пчела,— едва выговорила она и опять залилась слезами.

Братья стояли над ней и сочувственно глядели.

— Ну, как маленькая. Ребята смотрят, скажут, ну и старшая сестра, от пчелы ревет.

Он и говорил, сюсюкая, как с маленькой, и Лида успокоилась — со стороны и правда показалась себе смешной. Владик подхватил ее под обе руки и почти потащил к дому, а ребята, заметив невдалеке пруд, бросились туда.

На крыльце стояла женщина в полинявшем желтом платье и в красном платке, повязанном на голове, и смотрела из-под руки на эту чудную пару, явно городскую, но потом вскрикнула, узнав:

— Владька! Ты, что ли?

— Я, Тань, я,— он засмеялся и, подняв жену на руки, так и внес ее на крыльцо.— А это моя половина. Лидой звать.

— Чего с тобой, милая,— Татьяна нагну-

лась и заглянула Лиде в лицо,— ай плакала?

— Да ничего,— Лида улыбнулась,— пчела укусила.

— И-и, бывают беды и похлеще. Вы заходите давайте в дом-то, как раз молока из погреба принесу.

Они вошли и сели на табуреты у стола. Это была кухня — четверть ее занимала желтая, давно не беленная печь, в углу стоял стул с керосинкой, под ним — кошачье блюдце с едой, над которым кружились мухи. И мухи, и грязная тряпка на столе, и мусор на некрашеном полу — все отдавало каким-то запустением и неуютом.

Татьяна вернулась с трехлитровой банкой молока, вытащила откуда-то тарелку с медом и половину засохшего батона.

— Ну вот,— сказала она и, выдвинув табурет на середину комнаты, села.— Ешьте, голодные, никак.

Тут Лида поняла, что она выглядела очень странной — словно все хотела улыбнуться, но у нее это и через силу не получалось, и глаза были тревожные, как будто что-то сильно мучило ее.

Она сидела, сложив руки на коленях, и все меняла их, прикрывая одну другой.

— Ну, как живете, Тань?— спросил Владик, принимаясь за мед.— Дед-то жив?

— Дед жив,— равнодушно ответила та,— вон, поел да спать завалился.

И опять затревожились ее глаза.

— Работаешь?

— Работаю,— отвечала она так, словно выходила из забытья, оживлялась, но оживле-

ние это все равно было каким-то поддельным,— на ферме телят взяла, да дома один стоит. Хлопот столько с этими телятами.

Она поправила платок, съезжавший на глаза.

— Ить им стойла все время дезинфицировать надо да бидоны из-под молока ошпаривать, я уж прям и не рада, что связалась. Вон руки все в трещинах стали,— она вытянула вперед руку, заскорузлую, с широкими грязными ногтями,— и ногу сварила, три недели на перевязку в Желдыбино ходила.

Лида смотрела незаметно на ее руки, и ей вдруг захотелось взять их в свои и погреть немного, понежить — такие натруженные были руки.

В чулане что-то загремело, Татьяна сорвалась с табурета и бросилась туда.

— Ешь мед,— сказал Владик,— такого нигде больше не поешь.

— Она что, родственница твоя?

— Да нет, к бабке моей просто заходила, а теперь я заезжаю по старой памяти.

Татьяна вернулась и опять села точно так же, как сидела до этого.

— Кошка пришла,— пояснила она свой уход,— жрать хочет, а дикая — страсть, к чужим не выйдет, я ей там молока дала.

Она напоминала какую-то машину, только живую — словно душа ее сжалась до последнего предела. Дед, который где-то спал, кошка и телята, которых она обязана была кормить,— все это был как будто внешний ее долг, не тяготивший ее, но и не приносящий радости — что-то, мучившее ее, мешало ей жить легко и просто.

— А как Люська твоя теперь живет?— спросил Владик, соблюдая ритуальный порядок вопросов.

— А что Люська,— она вздохнула,— живет себе с мужем. Ребеночка ждет.

Она и о дочери говорила так же равнодушно, как о спящем деде, и было видно, что ни дочь, ни будущий ребенок ее по большому счету не волнуют — совершался обычный порядок жизни, и хоть дело и касалось ее дочери, все равно не могло вывести ее из странного для посторонних, заторможенного состояния.

— Ну а Колька как, все на комбайне работает? Сейчас-то — на работе, что ли?

Как только он сказал «Колька», она вздрогнула, и тот туман, который стоял в ее глазах, сразу рассеялся — они налились болью и глубокой мукой.

— В тюрьме Колька,— тихо сказала она,— год уж сидит.

— Да брось ты!— изумился Владик.— Чего так?

— Да из-за деда все нашего. Дед рыбу ловил на желдыбинских прудах, а ребята у него рыбу отняли да еще покрыли его на чем свет стоит — пьяные ж. Дед пришел, плакал. Ну, Колька промолчал, а потом как на майские напился, второго числа это было, мне ничего не сказал — сидел-сидел за столом, Люська еще с мужем была — и пропал вдруг. А он в Желдыбино пошел. Нашел тех, трактористов, да и пырнул одного. Тоже ведь по пьяни, он трезвый-то тихий у меня был. И они его избили. Им-то ладно, обошлось, а Колька-то с ножом был. Так и дали че-

тыре года. Уж и наплакалась я сколько...

Нервным тиком у нее задрожала щека, и она взялась за нее привычно своей грубой, потресканной рукой.

— Ну и дела,— сказал Владик,— где он сидит-то?

— У вас, в городе. Сказали, никуда переводить не будут. Работает и ведет себя хорошо. Сказали, сбавят. Я и видела его всего разок. Господи,— и она заплакала горько, видимо, припомнив ту встречу.

— Да ладно, Тань, ладно тебе,— Владик сочувственно коснулся ее плеча, но она, начав плакать, уже не могла остановиться, и вся ее начальная окаменелость ушла без следа — она сидела сгорбленная, жалкая, и руки у нее дрожали.

И стало ясно, как на самом деле страшно было Татьяне остаться без мужа, с этими кошками и телятами, и механически жить. И как не хватало теперь Татьяне его крепких мужских рук, которые так нужны именно здесь — их ждет и покинутый комбайн, и покосившийся забор, и такое измученное работой, но еще крепкое и нестарое тело ее.

— Да ладно, Тань, обойдется,— успокаивал Владик,— может, и правда сбавят. Год прошел, а там и немного останется.

— Видела-то всего разок. А теперь, сказали, в январе только можно. Уж и думаю, только скорей бы дожить.

— У меня один малый знакомый там работает,— вдруг сказал Владик.

— Где?— Татьяна настороженно подняла голову.

— В управлении. Я его найду и поговорю.

Особого ничего не обещаю, а насчет встречи можно. Может, почаще разрешат. Колька-то мужик хороший, тихий.

— Тихий, тихий,— подхватила Татьяна, и теплом и радостью, может быть, впервые за весь год, засветились ее глаза.— Владь, милый, поговори...

Она коснулась его руки.

— Господи, да я не знаю, что для тебя сделаю... Я вам сейчас медку наложу. Яблочек возьмите — осыпаются.

Она заметалась по комнате, потом нырнула в чулан, тут же выбежала в сад, и все движения ее были настоящие, живые, даже лицо разгладилось и посветлело.

Насыпала корзину яблок, а сверху положила пакет желтого, в восковых сотах, меда.

— Все берите, все,— она улыбалась, стащила с головы свой красный платок, а под ним оказались черные, густые волосы с тонкими белыми прядками у висков.

Владик с Татьяной стали обговаривать, как им лучше держать связь, а Лида смотрела на мужа с любовью и гордостью — как хорошо, что у него так много всяких знакомых. И все ее сегодняшнее недовольство казалось ей теперь мелочным и эгоистичным.

— Ну и ладно,— Владик поднялся и взялся за корзину,— пора нам трогаться, еще два километра до шоссе топать.

Лида тоже встала и ойкнула.

— Девонька моя милая,— Татьяна взяла ее под локоть,— и как же ты дойдешь-то? Оставайся у меня, а завтра и поедешь спокойно.

— Да мне на работу завтра,— Лида улыбнулась и пожала ее руку.

— Ой, погодите!— Татьяна прихлопнула в ладоши, что-то вспомнив.— Побегу к Козенковым — их сегодня из города на «козле» привезли. Только б не уехал еще, а то он вас и довезет.

Она накинула на голову платок и, как была, босиком, побежала к Козенковым.

На крыше погреба, поросшей травой, сидели Борька и Мишка, окруженные деревенскими мальчишками. Мишка свесил ноги над дверью погреба, а Борька что-то оживленно рассказывал — деревенские слушали внимательно и с любопытством и часто смеялись.

— А тот как подпрыгнул и прямо в воду попал,— Борька рассказывал новую комедию — и упал, изображая все в лицах. Мальчишки рассмеялись.

— Борька, закругляйся!— крикнул Владик.— Отчаливаем!

К ним бежала Татьяна.

— Успела!— кричала она на ходу.— Уж прям отъезжать собрался! Пошли скорей!

У козенковского дома стоял зеленый «козел», окруженный толпой, и они поспешили.

— Лид, давай я тебе сапоги свои дам,— предложил Мишка, заметив гримасу сестры,— в сапогах-то не так больно будет.

В сапогах оказалось удобней и легче.

— А ты мои ботинки надень, они ж тридцать седьмой.

— Не буду я в девчачьих ботинках идти,— отказался Мишка и пошел босиком.

— Ну вот,— сказала Татьяна, когда они подошли к «козлу» и со всеми поздоровались,— давайте, хорошие мои.

Она поцеловала Лиду в щеку, ребят потрепала по макушкам, а Владику пожала руку крепко и благодарно.

— Я теперь твоей открытки ждать буду,— сказала она ему,— каждый день на почту бегать.

Расселись — Владик впереди, рядом с шофером, а Лида с братьями сзади.

И машина тронулась. Лида оглянулась, когда уже выезжали за окраину деревни,— Татьяна одна еще стояла на пригорке, сложив на груди руки.

Какая она хорошая, подумала Лида, вытянув вперед зудящие ноги, какая простая и добрая и как она любит своего мужа. И я тоже люблю своего мужа, и вообще все люди — хорошие, во всех можно найти хорошее.

Владик разговорился с шофером о машине, о каких-то свечах, и у них потянулся обычный мужской разговор, который мало понятен бывает женщинам из-за непригодности его для житейского осмысления.

Ребята грызли яблоки и, гордые и довольные тем, что возвращаются домой на машине, вертелись, глядели в окна, но когда выехали на шоссе, примолкли, осоловев от усталости и монотонного шума мотора. Они задремали. Лица у мальчишек были безмятежные и чистые, как у маленьких.

Растолкал их Владик. Машина уже стояла в городе, на той самой остановке, где утром они ждали ребят.

Спросонья, еще плохо понимая, в чем дело, мальчишки со своими корзинками выскочили на тротуар.

— Обождите,— закричала Лида,— яблок насыплю.

— Да ладно, потом придут,— сказал Владик,— главное, воздухом свежим подышали.

Братья остались на остановке, постояли, приходя в себя, и побрели к дому. Мишка шел босиком, с засученными до колен брюками, и нес корзинку, в которой лежали одни «оленьи рожки».

Владик объяснял шоферу, как подъехать к их дому.

— Слушай, — Лида тронула его за плечо,— а давай сейчас к твоему знакомому заедем.

— Какому?— не понял Владик.

— Ну этому, из управления.

— Да он уехал,— Владик усмехнулся как-то смущенно и грустно.

— А зачем... зачем же ты ей обещал!— Лида даже задохнулась от волнения, чувствуя себя такой же обманутой, как и ничего не ведающая Татьяна.

— Ее успокоить надо было,— сказал Владик тихо,— а я...

— Остановите,— сказала Лида.— Остановите!

Шофер покосился на Владика, как бы спрашивая разрешения, и затормозил. Лида выскочила как ошпаренная и с силой захлопнула дверь.

— Изобретатель, тоже мне! — крикнула она вслед отъезжающей машине.— О холопах говоришь, а сам-то — кто?!

И, пряча от прохожих слезы, пошла, хлопая огромными, не по ноге, сапогами.

— Вот тебе на,— говорил в это время Владик, расстроенно закуривая,— Таньку ж надо было успокоить, сам на себя человек похож не был. А малый уехал — так я еще кого найду, разве я сволочь какая, человека обманывать. А она сразу кричать...

— Кто их разберет,— согласился шофер, не понимая толком, о ком ему говорят.

Я поеду в Джиргаталь

О времени, прожитом им в Джиргатале, у него не осталось даже смутных воспоминаний, кроме памяти об одном миге, когда он, ощущая макушкой солнечный жар, плыл навстречу чьим-то рукам, а остальное, возможно, придумал позже.

И еще от того времени у него осталось имя Махсуд, прямой, с легкой горбинкой, нос и темные, с тяжелыми веками, глаза, взгляд которых никогда не был открытым. Он не знал ни слова из родного языка, потому что мать, которая увезла его из Джиргаталя, старалась как можно прочнее забыть все, связанное с тем временем, и не дать ему ни крупицы из того, что принадлежало ему по праву.

Место, куда привезла его мать, было таким, что ничем не могло напомнить ей прошлое и что-то обидное для нее в прошлом.

Мать была русская, родом из Курска, но туда она не поехала, потому что не любила

места обжитые, а выбрала другой город неподалеку и устроилась там на швейную фабрику. Сначала они жили в общежитии, а потом мать получила квартиру в доме, который стоял прямо напротив фабрики на другом берегу реки.

Так они жили четырнадцать лет: в доме, который стоял напротив фабрики, куда ходила мать — сначала мимо базара, потом по мосту, потом мимо приземистого дома с магазинчиками — похоронных принадлежностей и мебельным. А его школа стояла на этом берегу, куда он ходил через базар и далее по узкому древнему переулку с нависшими над тротуаром заборами, из-за которых торчали кусты сирени.

В предпоследний день мая, когда закончились занятия, ему исполнилось шестнадцать — в двадцать два сорок пять, уточнила мать, помня, как всякая женщина, час своего испытания. Мать собиралась на работу в вечернюю смену, потому что не смогла с кем-то договориться, и маленький праздничный стол был накрыт наскоро. Она купила на базаре зелени и огурцов, и ореховый торт, и зеленую бутылку вина — все стояло на столе, а мать сидела напротив сына, сложив руки на коленях, и смотрела в его лицо, словно ожидая чего-то или собираясь с мыслями.

Потом она взяла бутылку и налила в стаканы дешевого вина, которое коротко зашипело, тут же погаснув.

Мать так ничего и не сказала, и они выпили молча. За едой тоже молчали, но мать расстроилась, что никакого тоста не смогла произнести, и теперь в уме перебирала все лас-

ковые слова, которые хотела бы сказать сыну, но не умела говорить их вслух. Она называла его славным и красивым, мальчиком своим и малышом, потому что, думая о нем, она всегда вспоминала его еще беззащитным, с теплым маленьким телом, а потом вспомнила свои молодые руки, державшие это тело, и молодую себя, и далекий Джиргаталь, где ее недолго любили.

Он думал о другом: когда глядел на руки матери, наливавшие вино, вдруг опять увидел и то солнце, и то дерево с тенью, и понял, что руки, к которым он тогда шел, были руками отца.

Мать заплакала и, отодвинув тарелку, встала:

— Господи, теперь глаза потекут,— сказала она и пошла к зеркалу.

У зеркала она долго подкрашивала глаза, шмыгала носом, и когда повернула лицо к сыну, оно было уже спокойным.

— Пойду,— она взяла сумку,— ты меня сегодня-то не встречай, может, с ребятами куда гулять пойдете.

Он кивнул в ответ, но встречать все равно пошел.

До конца смены оставалось часа два, и он, выйдя на берег, сел среди бурьяна, так что исчез для прохожих, а ниже, под его ногами, темнел песок, и на песке лежало не нужное никому удилище.

На мосту время от времени дребезжали трамваи, а где-то далеко справа, так что и не было видно за поворотом реки, по другому, тяжелому мосту, стучали поезда, и звук их несла река.

Он долго сидел оцепенев и мудро, как старик, глядел на мутную медленную воду. Он ни о чем не думал и жил сейчас лишь ощущением, впитывая всем телом теплый вечерний воздух, не видя, но зная привычную траву вокруг и пыльные кусты у тропинки наверху, и небо, и первую звезду на нем. И когда он сидел так долго, то уже перестал понимать, где он, но не унесся воображением, а словно стал воздухом, слившись с ним. Темнота густела незаметно, и скоро маленькие дома на том берегу реки стали совсем неразличимы, только тихие огоньки в их окнах светили далеко и уютно. Несколько раз он пробуждался от грохота трамваев по мосту, и тогда вспоминал про мать, но что-то подсказывало ему, что еще рано, и он переводил взгляд на здание фабрики — оно походило на громадный корабль, и яркие окна цехов горели, как иллюминаторы. Ему хотелось, чтобы фабрика действительно сдвинулась с места и поплыла по реке, как большой и легкий корабль, залитый светом, но тут он вспомнил про мосты с обеих сторон и подумал, что ни один настоящий корабль не сможет проплыть по этой реке.

Откуда-то из высокой травы, совсем рядом с ним, вышла собака, вышла так бесшумно, что он на мгновение испугался, но собака доверчиво обнюхала ноги и тут же радостно замотала тяжелым пушистым хвостом. Он понял, что это Цыганка — днями она промышляла на базаре или спала где-нибудь под лотком, не обращая внимания на шарканье множества ног, а вечером бро-

дила по окрестностям, собирая вокруг себя толпы псов.

Он погладил Цыганку по жесткой старой шерсти на боку, и собака, благодарно повиляв хвостом, отправилась дальше по берегу, спустившись к самой кромке воды и вынюхивая что-то у земли, словно шла по следу.

Возможно, пора было выходить к мосту, и он решил подняться наверх, чтобы спросить у кого-нибудь время, но тут с того берега кто-то выстрелил из ракетницы. Ракета зашипела, взлетая высоко в черное небо, и вспыхнула ровным желтым светом. Она висела над рекой долго, спускаясь на парашюте, и отражалась в самой глубине вод таинственно и тускло. Ребята на том берегу кричали возбужденно и радостно до тех пор, пока ракета не погасла, опустившись почти до самой реки, так что показалось, что она утонула.

— Красиво, правда?— вдруг послышался снизу женский голос.— И долго как.

— Пацаны шалят,— ответил мужской голос, низкий и глухой.

Они вышли из-за куста ивы на песок, и парень, нагнувшись, поднял старое удилище, повертел его в руках, переломил пополам и забросил назад, за спину.

— Ну что, здесь, что ли?— спросил он.— Мы здесь с ребятами не купаемся.

Он сел на песок и, сняв ботинки, закурил.

— Я тоже всегда на пляж хожу,— ответила девушка, стягивая платье,— здесь глубоко.

— Ты плавать-то умеешь?— спросил парень и лег, облокотившись на руку.

Девушка ничего не ответила, заколола волосы и подошла к воде, пробуя ее пальцами. Вода, видимо, была холодная, потому что девушка зябко передернула плечами и вернулась к парню. Они сели рядом и немного помолчали.

— Так ты едешь все-таки?— спросил парень глухо и с тоскою.— А если не поступишь?

— Не поступлю — там останусь,— ответила она.— На следующий год опять попробую.

— Не вернешься?— парень резко размахнулся и коротко отщелкнул окурок. Красный огонек полетел и утонул в темной воде.

— А что здесь?— девушка посмотрела на парня и повторила:— Здесь-то — что?

Парень встал, сбросил одежду и, не пробуя воду, вступил в реку с шумом и брызгами и тут же поплыл, потому что в этом месте в самом деле было глубоко.

Девушка осталась одна. Она стояла у самой воды, то ли не решаясь войти в нее, то ли совсем забыв о купании. Ей, наверное, было холодно, потому что она зажала руки под мышки и все смотрела в темь, вперед, куда поплыл парень. Она стояла и стояла, не купаясь и не надевая платья, и ее белая фигура тонко светилась на фоне воды.

Это была Руфина с пятого этажа. Он узнал ее не сразу, и даже не по голосу, а по силуэту, когда она вышла из кустов, мягко ступая босыми ногами по мокрому песку. А парня, уплывшего в темноту, он никогда не видел.

Теперь нужно было подняться и выйти наверх и бежать скорее через мост, к воротам

фабрики, но он все сидел в одной и той же позе и не шевелился, скованный каким-то странным, впервые ощущаемым чувством. Он смотрел на белую спину Руфины, на ее белые ноги, на тонкую полоску трусиков, и сердце его стучало все сильнее и сильнее, так что кровь начала пульсировать где-то в самом горле, и было страшно, что сейчас он сделает что-то такое неожиданное для себя и нелепое со стороны — и в то мгновение, когда сердце, казалось, вот-вот разорвется, он вскочил и почти на четвереньках, как собака, стал продираться сквозь пыльную траву и бурьян наверх, к дороге.

Сквозь гулкие удары крови в ушах он слышал, как Руфина сначала слабо вскрикнула, а потом стала звать Володю, но вскоре он уже бежал во весь дух к мосту, оставляя позади и белое тело Руфины, и свой горячий бред.

Одним махом он одолел дорогу, и мост, и дом с магазинчиками и остановился только у ворот фабрики. Он стоял, сначала задыхаясь, но потом постепенно отдышался и почувствовал себя больным и уставшим. Подождав минут пятнадцать и видя, что никто не выходит из ворот, он спросил у вахтера про вечернюю смену. Вахтер, узнав его, ответил, что смена кончилась полчаса назад и что мать уже ушла.

Последний трамвай прозвенел мимо — пассажиров не было, и свет в салоне был погашен. Городок спал, и до самого дома он не встретил никого, только на базаре из-под крытого тентом закутка раздавались голоса — видимо, кто-то из приезжих еще не успел найти квартиру.

Проходя через свой двор, он боялся только одного — встретиться с Руфиной. Но двор был темен и пуст, и ее окна на пятом этаже тоже были темными.

Мать уже лежала в кровати, но когда он вошел, зашевелилась и подвинула к себе стул, на который на ночь вешала одежду. Он не стал зажигать свет, разделся привычно, положив рубашку и брюки на другой стул, который уже стоял у его дивана, и лег. Ему почему-то было зябко.

Часы тикали громче обычного, на кухне капала из крана вода, и мать не засыпала — было слышно, как она нервно и ритмично водит пальцами по краю одеяла.

— Миш,— позвала она,— ты не спишь?

Мать всегда звала его Мишей, и во дворе, и в школе все звали его Мишей, давно забыв про его настоящее имя, и если вспоминали, что его зовут Махсуд, то почему-то смеялись.

— Миш,— позвала она опять, не получив ответа,— отец тебе телеграмму прислал. Вспомнил все-таки.

Он опять ничего не ответил.

От редких весточек отца он не испытывал никакой радости, но все же какое-то странное волнение приходило к нему, когда он думал о нем. Отец был чужой человек, от которого не осталось ни одной фотографии, потому что мать в порыве гнева и какой-то, ей одной известной обиды давно уничтожила все, с ним связанное. Но образ отца все равно жил в нем — он складывался из того смутного детского воспоминания, из какого-то ощущения необычности солнечного света, из вкуса фруктов,

которые продавали на базаре. Иногда он приходил на базар и подолгу бродил меж рядов, делая вид, что ему нужно что-то купить, но незаметно, исподтишка, вглядываясь в лица смуглых людей, говоривших между собой непонятно и быстро. Звуки их речи волновали и тревожили его, ему очень хотелось понять, о чем говорят эти люди, хотя наверняка они говорили о чем-то самом обычном и неинтересном. Но такое приходило к нему редко и быстро уходило, как неожиданно услышанный среди множества других голосов один, необычный голос, были эти всплески тревоги среди одинаковых дней жизни.

— Может, напишешь ему?— сказала мать.

— Нет,— ответил он и отвернулся к стене.

Он чувствовал себя совершенно разбитым, как бывало, когда он заболевал.

Писать отцу он не хотел, это было странно, как писать письма совершенно незнакомому человеку, но слово «Джиргаталь», горячее и таинственное, манило его. Он не знал, что такое Джиргаталь — большой город или такой же маленький и тихий городок, как тот, в котором он жил. Но он никогда не расспрашивал мать, словно боялся узнать правду,— потому что с этим словом у него было связано свое, что-то необычное и яркое — может быть, прекрасный сад, залитый солнцем, огромное небо, бескрайняя сверкающая вода, песчаные сопки на желтом горизонте — а может быть, вовсе не так выглядел его Джиргаталь, но там было все, что он видел в снах, от которых просыпаешься с загадочной полуулыбкой, и никогда не можешь рассказать, от чего ты так улыбаешься, потому что все виден-

ное нельзя рассказать словами, а можно только чувствовать в момент пробуждения, когда еще не успело уйти, когда сладость и горечь, слитые в одно, еще некоторые мгновения живут в тебе.

И теперь, отвернувшись к стене, он опять вспомнил, что было с ним на берегу, и, словно заново перечувствовав, понял, что то ощущение, которое он испытал, тоже как-то связано с Джиргаталем.

Заснул он быстро, и больная и сладостная улыбка скоро мелькнула на его лице — и погасла.

Утром мать долго гремела на кухне кастрюлями, а потом ушла за молоком, взяв старый алюминиевый бидон.

Он дождался, пока мать захлопнет дверь, и встал, попав в самый центр солнечного квадрата на полу. Балконная дверь была распахнута, и на дворе галдели птицы и уже вовсю кричали дети. Солнечный квадрат был таким нежным и теплым, что ему не захотелось выходить из него. Он присел на край стула, глядя, как на свету играют пылинки, и вдруг вспомнил, как однажды Руфина была похожа на большое яркое солнце. Может быть, был точно такой же день, только тогда он был совсем мальчишка, и так же утром он сидел на скамейке во дворе, весь в тепле и свете, и выжигал на спинке скамейки маленькую звезду. Может быть, не звезду. А потом он услышал громкую веселую музыку. Он поднял голову и увидел рыжую Руфину. Она ничего такого не делала, просто стояла у своего окна на пятом этаже, а на подоконнике стоял проигрыватель. Он играл на полную катушку. Ру-

фина распахнула пошире окно, взмахнув руками, как крыльями. Она была очень рыжая, и волосы за ее спиной горели красным шаром. Кто-то ей крикнул, что очень громко, но она только засмеялась. Наверное, тогда она уже кончала школу. Она была из «старших», и поэтому он, поглядев на смеющуюся Руфину, опять стал заниматься своим делом. И все. Он никогда не думал, что вспомнит этот день.

И вдруг ему страшно захотелось увидеть Руфину. Он даже вышел на балкон, поглядел вниз, и вверх, и на ее балкон, но Руфины нигде не было. И его охватило отчаяние, потому что он опять вспомнил вчерашний вечер.

Он оделся и вышел во двор. За столом сидели старики и водопроводчик, они играли в домино. Он присел на лавку с краю и под стук игроков стал оглядывать дом. Солнце пекло все сильнее и сильнее, но над столом, брошенная на нижние ветки тополей, висела старая клеенка, и под ней была тень. Тут он вспомнил, что нужно идти в школу поливать грядки, и нехотя, с чувством какой-то тревоги, словно оставляя здесь что-то очень нужное и важное для него, поплелся к школе.

Но дошел он только до базара. Он заметил Цыганку, спящую за мусорными баками, попробовал семечек у старухи, повязанной почему-то шерстяным платком, и свернул к тем рядам, где продавали свежие огурцы и помидоры, а потом повернул к берегу.

Он прошел берегом от базара до пляжа и встретил там двух одноклассников, которые загорали, лежа на своих рубашках. И решил остаться на пляже. Он разделся, рас-

стелил по песку свою рубашку и лег лицом вниз, спиной к солнцу, чтобы не слепило глаза. На солнце тело расслабилось, нагрелось, и он, лежа с закрытыми глазами, дремал, слушая сквозь эту дрему все звуки пляжа — шлепали брызги, чей-то женский голос взвизгивал, перекрывая ровный гул пляжа, а слева сидели две женщины, они вязали, прикрыв головы газетными пилотками, и очень долго говорили об одном и том же — о какой-то Верке, которая без мужа родила второго ребенка.

Ему хотелось лежать так долго, согревшись и расслабившись, среди шума и людей, но не разговаривая ни с кем, потому что впервые со вчерашнего вечера наступило такое расслабление. Он не думал о том, что с ним произошло, произошло ли вообще, стал ли он вдруг взрослым или влюбился впервые в жизни — об этом он не думал, просто сейчас ему было немного легче, а вчера весь был в каком-то оцепенении. Казалось, что до вчерашнего дня он жил в одном мире, а потом вдруг переместился в другой. И не хотелось валять дурака, даже разговаривать ни с кем не хотелось.

Одноклассники, которых он встретил, плавали на тот берег. Ему и купаться уже не хотелось. Он лежал, лениво провожая их глазами, видел, как они вылезли на том берегу и стали прыгать, махая руками — то ли звали его, то ли показывали, что они уже там. Потом они поплыли назад — плыли уже медленнее, и течение относило их вниз, за пляж.

Прошло не меньше получаса, прежде чем они вернулись к своим рубашкам, уста-

лые и запыхавшиеся. Но, полежав минут десять, они начали забавляться — Спиркин начал засыпать Одинцова песком и при этом требовал, чтобы ему помогли.

— Мишка, хорэ лежать,— сказал Спиркин,— давай лучше Сашку сейчас засыплем.

Он махнул рукой и отвернулся в другую сторону, чтобы больше к нему не приставали. Потом он услышал вскрик Одинцова и увидел, что тот катается со Спиркиным по песку — видимо, Спиркин и в самом деле попал песком в лицо. Катались они сначала вроде бы играя, но потом начали драться по-настоящему, больно пиная друг друга и стараясь попасть песком в глаза. Раньше он непременно бы встал и ввязался в драку, стараясь не столько разнять их, сколько повозиться вместе с ними, но теперь он равнодушно посмотрел на них и перевернулся на спину.

Смотреть на солнце было невозможно — даже если закрыть глаза, солнечные лучи все равно проникали сквозь веки, и перед глазами было что-то ярко-красное, в мелких желтых прожилках. Когда на него попали песком и кто-то больно задел его по ноге, он сказал, не открывая глаз:

— Ну, вы, кончайте,— и они действительно кончили возиться, вдруг присев на свои рубашки и выбирая из глаз песок. Возможно, они только и ждали хоть какого-нибудь вмешательства, чтобы успокоиться, потому что их драка никак не могла закончиться.

Потом Спиркин захотел есть, а у Одинцова оказались деньги — и они пошли в магазин неподалеку купить булок, но так больше и не вернулись.

Он просидел на пляже почти до вечера, до тех пор, пока пляж не опустел. Пришли женщина с маленькой девочкой — полоскать белье. Все, кто жил на берегу, в старых покосившихся домах, полоскали белье в реке. Женщина зашла в воду, подоткнув подол юбки высоко, так что оголились ее полные, незагорелые ноги, а девочка подносила ей белье и складывала в таз уже прополосканное. В дальнем конце пляжа еще сидели парни, играя в карты,— они сидели с тех самых пор, когда он пришел. Солнце садилось справа, за железнодорожным мостом, и когда по мосту прошел длинный тяжелый товарняк, его черные маленькие вагоны катились в солнце как игрушечные, связанные между собой тонкими черными ниточками.

Уже сильно хотелось есть, но домой идти было лень — сидеть одному в комнате, прогретой за день солнцем. Он полез в воду, и по телу пробежал озноб — кожа, обожженная за день, покрылась мурашками. Но вода оказалась мягкой и ласкающей, и он лег на спину, разрешая течению нести себя туда, к далекому мосту. Небо было красным, и красной вода, и он медленно плыл, распластав руки и только чуть-чуть помогая себе ногами. Он плыл мимо кустов, в которых сидели угрюмые рыбаки, и те настороженно и недобро посматривали на него, опасаясь за свои снасти. Потом, когда его отнесло за последние дома, он вспомнил про свою одежду, оставленную на пляже, и вылез на берег, потому что плыть назад у него уже не хватило бы сил.

Одевшись, он пошел на то самое место, где вчера он так долго сидел в бурьяне,—

он пошел туда не потому, что надеялся опять увидеть Руфину, он не хотел бы больше пережить того, что пережил вчера, но все же что-то потянуло его туда, как если бы кто-то сказал ему, что уединение станет теперь его естественным состоянием.

Он сел и стал смотреть на заход солнца, на медленную реку, на лодку, плывущую вдали,— и впервые по-настоящему почувствовал, что все это — само по себе — и солнце, и лодка, и люди, которые сидят в ней,— и что он хоть и причастен к этому миру, но он тоже один и сам по себе — даже если не будет его, все равно будут река и солнце, и для них его потеря не будет значить ровным счетом ничего. Раньше он жил в мире, центром которого был он сам, и все, что его окружало, было для него. Теперь этот мир вдруг распался, и оказалось, что он — никто в этом мире. Он стал взрослым — и не понял, но почувствовал, что начинает жить сначала, что только он сам, и никто больше, должен строить свою собственную жизнь, свой дом и искать счастье, которое в детстве казалось уже найденным.

Он не пошел встречать мать, потому что не имел никакого представления о том, когда ушел с пляжа и сколько уже просидел в бурьяне. Фабрика опять горела, как гигантский корабль, и к ней со всех сторон лепились низкорослые дома с мелкими огоньками в них. Если бы это был настоящий корабль! Если бы это был настоящий корабль, а эта ленивая река — морем, о, как легко можно было бы доплыть до Джиргаталя!

Но река оставалась рекой, а на верхнем

этаже фабрики погасли окна. По траве пробежал прохладный ветер, и подсохшие на солнце верхушки бурьяна зашелестели как-то по-осеннему.

Он вошел во двор через лаз в заборе, чтобы не обходить дом вокруг, и замер, потому что, успев услышать только первые звуки голоса, понял, что Руфина здесь. Он замер за кустом сирени, а в двух метрах от него была лавочка, и на лавочке сидели они.

— Я тебе писать буду,— говорила Руфина,— а если захочешь, приедешь ко мне.

— Не будешь ты писать,— ответил парень уверенно.

— Володенька, милый, да что с тобой,— Руфина говорила сладко и насмешливо, чуть-чуть касаясь его волос.

— Не будешь,— повторил парень упрямо.— Закрутишься — и не будешь. Я Москву знаю,— и сжал вдруг Руфинино плечо жестко и отчаянно, другой рукой запрокинул ей голову и стал целовать ее не отрываясь, а Руфина только постанывала тихо, пытаясь освободиться.

Он стоял в кустах, слушая эти звуки, и у него не было ни ног, ни рук, потому что все тело стало ватным.

— Да пусти ты, пусти,— удалось наконец сказать Руфине, но парень опять навалился на нее, и опять ее рот оказался закрытым.

А он дрожал мелко, как от сильного озноба, не понимая, что с ним происходит. И вдруг дрожь прекратилась резко, в одно мгновение, стало жарко, и горячо налились его мускулы — он прыгнул, как дикая кошка, бесшумно

и легко, и ударил парня сильно, как только мог. Ударил — и застыл не дыша в нелепой, никем не виданной стойке.

Руфина отскочила, ничего не успев понять, а парень сообразил быстрее — он тоже ударил, раз и два, и все в живот, так что от дикой боли все потемнело в глазах.

— Володенька, господи, да что ж это такое,— Руфина схватила парня за руку, сначала не могла совладать, но тут парень и сам остановился, глядя на лежащего перед ним мальчишку.

— Да это ж Мишка,— изумленно сказала Руфина и присела на корточки.— Да посади ж ты его хоть!

— Сам сядет,— парень сплюнул и потрогал разбитую губу,— щенок сопливый.— Он был возбужден, и рука, которой он трогал губу, мелко дрожала.

— Щенок,— повторил он,— что он, спятил, что ли?

— Миш, Миш,— Руфина сидела перед ним и трясла его за руку.

А он лежал на земле уже просто так, и хотя ему было больно, он мог подняться и, может быть, дать еще этому борову. Но он не хотел подниматься, потому что он плакал.

— Миш, ну скажи что-нибудь,— просила Руфина встревоженно.

— Уходи,— выговорил он, боясь, что она догадается о его слезах.— Все уходите!

— Да что ты с ним цацкаешься,— сказал парень,— матери его сказать, она ему ж... надерет. С-сопляк.

— Пойдем,— сказала Руфина тихо и поспешно — может быть, она о чем-то все-таки

догадалась. И они ушли — Руфина еще несколько раз оглянулась, а парень, чертыхаясь, все трогал распухшую губу.

Он полежал на земле до тех пор, пока они не скрылись за углом дома, потом встал, и, держась руками за живот, доковылял до лавки. Он плакал навзрыд, спрятав лицо в ладони, стараясь сдержать себя — но тем больше разгоралась в нем обида, ненависть и стыд за свое поражение.

И вдруг, как спасение, мелькнула мысль о Джиргатале — том, реальном Джиргатале, который где-то существовал.

— Уеду,— сказал он вслух, и в этот миг настоящий Джиргаталь слился для него с его Джиргаталем. Он почему-то вспомнил, как в детстве они пели: «Дождик, дождик, перестань, я поеду в Дагестань!»

— И поеду,— добавил он почти весело. Он был уже взрослый, ему исполнилось шестнадцать, и он мог думать, что поедет в неведомый Джиргаталь, а там непременно найдет свое счастье.

Мертвые звезды

Тот день начался обычно. Я встал около семи, слышал, как брат рубит на дворе дрова, мать что-то жарила на кухне, но пока я прибирал свою кровать, все будто хотел что-то вспомнить, а хочу ухватить — уходит куда-то. Так ничего и не вспомнил, даже настроение испортилось. Наспех поел, схватил портфель и побежал к автобусу — занятия в институте

в восемь, а автобус отправляется в семь ноль пять.

Мороз был сильный. Брат крикнул мне от сарая:

— Что, семь уже?

Он стоял в одном свитере. Я только головой кивнул и помчался по нашей улице что есть силы. Скрипел снег, у соседей залаял Цыган, и тут же забрехали собаки в других дворах.

У предпоследнего дома я поскользнулся на катке, припорошенном снегом. Портфель отскочил, а я сильно ударился коленкой. Штанина прилипла к ноге — до крови расшиб, и в портфель набился снег. Я подумал, что от такого начала хорошего дня ожидать трудно.

Но к автобусу я успел. Народу было немного — две старухи и девушка, которая тоже каждый день ездила в город. По утрам мы всегда ехали вместе, а на обратном пути никогда почему-то не встречались.

Тут я вспомнил, что сегодня суббота — вот почему на остановке пусто.

От нашего поселка до центра города — сорок пять минут. Проехали мимо завода — за высокой стеной стояли черные домны, и одна, дальняя, полыхала красным, воздух розово светился — лили чугун. Когда задержишься в городе до сумерек, то видишь, как далеко на юге небо озаряется, будто там извергается вулкан — это наш завод. На заводе мой дед работал, потом отец (он умер, когда мне год был), а теперь старший брат. У нас почти весь поселок на заводе работает.

Все, что было за окном, я давно знал наизусть и отвернулся.

Шофера загораживали цветные занавески, но я видел его лицо в зеркало — оно было спокойное, ничего не выражало. У переднего стекла стояла пластмассовая роза, в ней горела красная лампочка — то вспыхивала, то гасла.

Тут я опять затревожился, потому что вновь начал вспоминать то, что никак не вспоминалось. Мимоходом подумал, что нужно зайти в фотоателье — мать с подругой фотографировались, а снимки я должен забрать. Еще брат просил лыжной мази привезти из города. Но все это было не то — просто тогда, в автобусе, мне нужно было вспомнить последний сон. Но о снах я не думал. У меня вдруг сильно разболелась голова.

В городе было малолюдно и еще горели голубые фонари.

Я пошел к институту не по прямой, как всегда, а через парк. За ночь намело большие сугробы, и еще никто не успел по чистому снегу пройти, только птицы кое-где наследили. Я залез в сугроб и ударил портфелем по дереву — снег с веток полетел хлопьями, и вспорхнула с соседнего дерева синица. Я еще долго стоял по колено в снегу и что-то слушал — может, услышу то, что никак не вспоминалось, но ничего не слышал.

Я совсем забыл, что нужно идти в институт. Когда почувствовал, что ноги совсем отмерзли да еще колено разболелось по-настоящему, вылез из сугроба и пошел по кривым дорожкам и никого не встретил, только вдалеке мелькнули два лыжника в красных костюмах. Я все ходил и ходил по дорожкам, потом вышел на незнакомую улицу и долго

по ней шел, пока не узнал здание почтамта.

Зашел в зал, сел к батарее, прижав к ней руки, и постепенно начал согреваться, но опять заболела голова, и я словно заснул, но только с открытыми глазами. Я все видел и слышал, но это меня не касалось, как будто бы я сидел в стеклянном аквариуме. Так я проспал час или больше, потому что когда вышел, фонари погасли, а в магазинах уже было много людей.

Я больше не помню, куда еще заходил и что там делал. День тянулся бесконечно, никакого времени в нем не было, я плыл в этом дне, а домой упорно не возвращался — не потому, что хотел обмануть мать, будто был в институте — о нем я начисто забыл, но что-то не давало мне сесть на автобус и уехать. Я ничего не ел и не хотел, только часто заходил погреться, колено распухло, и несколько раз начинала болеть голова, но потом отпускала.

А когда стемнело и опять зажглись фонари, меня вдруг потянуло домой, и я словно откуда-то издали, из другого времени, вспомнил весь день, сам себе удивился и похромал к остановке.

В автобус меня просто внесли и затерли где-то у передней двери. По городу ехали без остановок — пассажиры были не городские, они стали потихоньку выходить, когда город уже кончился,— спрыгивали и пропадали в темноте. Места становилось все больше, можно было сесть, но я остался стоять, потому что не мог согнуть ногу.

Тут я заметил, что еду в том же автобусе, что и утром, узнал по занавескам — только

шофер сменился, а лампочка мигала все так же. Я оглядел салон и увидел девушку. И мне стало почему-то легко и радостно. Я смотрел на девушку, а девушка смотрела в дырку в оконном льду. Потом она подняла голову — это была не та девушка, но они были чем-то похожи с той, и я ничуть не расстроился, только испугался, что она заметит мой взгляд. И девушка опять отвернулась к окну.

А я увидел чьи-то глаза.

Сначала только глаза, но уже вздрогнул, потому что узнал их. И тут я не смог схитрить, а смотрел и смотрел и увидел все лицо. И он тоже смотрел на меня, а потом развернулся и встал спиной. Может быть, мне нужно было поздороваться, пока он на меня смотрел, или кивнуть хотя бы, но я стоял как парализованный. Я еще не до конца уверен был, что это — он. Я смотрел в его спину в освещенном заднем стекле, и вокруг его силуэта играли мелкие острые искры, а я все больше сомневался. Мы семь лет не виделись, и все это время я так много думал о нем и о нашей встрече и так мучился в ожидании ее, что не могла она быть такой простой и в такой дурацкий день, когда никакого предвозвестия не было мне. А сколько раз за эти семь лет были дни, когда я ходил как сумасшедший и мне казалось, что он где-то рядом и вот сейчас выйдет из-за угла — да только ничем те дни так и не кончались.

Но теперь чем ближе мы к поселку подъезжали, тем больше крепла моя уверенность. Когда автобус останавливался, я боялся, что сейчас и он спрыгнет и исчезнет — но он все стоял ко мне спиной, а шапку почему-то дер-

жал в руке, и меня так тянуло к нему, что я и в самом деле сделал шаг в ту сторону, но испугался сам себя и задержался. А когда проехали последнюю перед поселком остановку, я понял, что не ошибся.

Автобус остановился, и мы вышли: он первым, я за ним. Он шел впереди, шагая крупно и сильно, а я старался попадать в его следы. Мы прошли нашу улицу, и когда он встал у своей калитки, отодвигая щеколду, я тоже остановился и смотрел на него. Оглянись, думал я, ну оглянись же. Он оглянулся, когда распахнул калитку, а я стоял в двух метрах от него и видел его глаза. И не сказал ничего, даже кивнуть не смог, и он пошел к дому, толкнув калитку ногой, а из глубины двора отозвался Цыган. Тут же забрехали все собаки на улице. Я дошел до своей калитки, но постоял немного, потому что сердце мое колотилось и я ждал, когда оно успокоится, а может быть, ждал, что он сейчас вернется. Но Цыган перестал лаять, потом стихла улица, и я понял, что ждать мне нечего.

Мать и жена брата вязали на кухне. Когда я вошел, обе подняли головы.

— Носило ж тебя,— сказала мать.— Садись есть.

— Я ел,— ответил я,— в столовой. У нас сегодня лабораторные занятия были.

Есть мне не хотелось. Я прошел в свою комнату и начал снимать брюки, но оторвать штанину от колена не смог — пришлось намочить водой, а потом я оторвал кусок пластыря, на котором держалась у стены картинка, и залепил рану. Вернулся на кухню и сел спиной к печке, потому что хотелось согреться.

— Замерз?— спросила мать.— Чайку горячего выпей.

Я стал наливать в стакан из чайника.

— А чего вы на этих занятиях делаете?— спросила мать. Она еще не привыкла к тому, что я поступил в институт, и каждый день меня расспрашивала.

— Опыты,— ответил я. — Физические и прочие.

Мать кивнула головой, а жена брата, оторвавшись от вязанья, лениво зевнула и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Сашка Татьянин сегодня из отсидки вернулся. Евдоха мне в магазине сказала.

Сердце у меня опять всколыхнулось.

Я слушал, что она еще скажет, но она потянулась и уронила клубок. Клубок упал к ногам, однако нагнуться она не могла из-за огромного круглого живота. Я нагнулся за клубком и чай разлил.

— Вот тетеря,— сказала мать,— вытирай, вон тряпка, в тазу.

Я начал вытирать лужу, а мать сказала:

— Сашка опять дела начнет делать. Такого не укатаешь.

— Он надолго?— спросил я, боясь, что голос выдаст меня.

— Да черт его знает,— жена брата опять широко зевнула,— ветер дунет, опять полетит.

— Ты когда фотографии мои заберешь?— спросила мать.

— Не готовы еще,— ответил я и пошел к себе, забыв про чай.

Я лег в темноте на койку и, полежав немного, вспомнил, что ночью мне снился он. Как

мы блуждаем по какому-то болоту и он все уходит и уходит от меня, а я за ним, только он словно знает, куда ступать, а я увязаю и отстаю. Так и ушел от меня там, во сне. Вот что я весь день вспомнить не мог, мучился — а если бы с утра вспомнил, то и в автобусе сразу бы ему кивнул, ни секунды бы не сомневался.

Но во сне он не сегодняшний был — а тот, когда ему шестнадцать было, а мне одиннадцать. Семь лет назад.

Мы рядом жили, но ни разу друг к другу до того лета не подходили и никогда вместе не играли, потому что пять лет — такая разница, которая для взрослых, может, и не значит ничего, а для ребят — как стена. Они уже в клуб на танцы ходили, а по ночам лазили в окна к девушкам из заводского общежития и в город гулять ездили. А у них он первым был, хоть в ту компанию и постарше, чем он, входили, и, значит, в окна тоже лазил, и драки с городскими устраивал, и многое еще делал, про что я знать не мог. Они нас просто не замечали — и мы к ним не лезли, потому что добра ждать от них не приходилось. У нас все свое было — голубятни, купанье в речке, куда спускали горячую, как кипяток, воду с завода — речку так и звали — Горячка. Еще у нас была своя балка за поселком, длинная и глубокая, где мы в войну играли. Но все дело в том, что я и со своими-то сверстниками не очень играл. Они меня хиляком считали и все только мелкие роли давали, так что мне интереса играть с ними было мало, если я лишь сторожем при боеприпасах оставался или пленных охранял. Я чувствовал тогда свое по-

ложение и все дальше от них уходил, так что и с ними моя дружба прекратилась. А когда мне врач очки прописал, в которых я и ходил меньше года, они меня начали дразнить глупо и жестоко и даже два раза очки мои ломали, так что в конце концов дело дошло до полного отторжения. Я не в силах был понять, почему в них такую сильную ненависть очки вызывали, словно бы я надел эти очки для того, чтобы выделиться, а не по принуждению.

Так я и остался к тому лету совсем один. В том возрасте одному остаться — через большие муки пройти, если и взрослые плачут о своем одиночестве. Брат тогда, видимо чувствуя что-то во мне, привез с базара из города крольчат, мы вместе клетку им соорудили, и я по утрам собирал за домом одуванчики — крольчата очень их листья любили.

Я подолгу сидел перед клеткой, глядел, как они, торопясь, уминают зелень, и любил, когда они мой палец покусывали острыми, но еще слабыми зубами.

Брат же меня и в астрономическую секцию при заводском Доме культуры записал. Там нас было всего трое: я, один пожилой рабочий и руководитель — учитель, что у нас в школе географию вел. Мы собирались раз в неделю, и учитель рассказывал нам про нашу галактику, про белых карликов и черные дыры, и я многого не понимал, но тогда, после этих занятий, почувствовал себя окончательно одиноким, когда по ночам выходил к оврагу за нашим домом и, сидя у края его среди лебеды и цветущих колючек, глядел в небо, пытаясь найти созвездия, про которые говорил учитель.

Звезды пульсировали и уплывали куда-то, и голова моя начинала распухать и кружиться, потому что постепенно исчезали мой дом и весь поселок, а я оставался совсем один против неоглядного черного неба и приходил в себя только от первых порывов холодного ночного ветра и от того, что стебли травы, касаясь лица, оставляли на нем жгучие мокрые следы.

После третьего занятия я купил атлас звездного неба. Но с того дня, как назло, зарядили дожди — они шли целую неделю, так что я сидел дома и изучал атлас. Мне не терпелось сравнить то, что там было нарисовано, с настоящим небом. И когда дождь сдался — к полудню ослабел, моросил лениво и редко, а к вечеру совсем кончился и разлился теплый закат, я сложил в сенях телогрейку, атлас и фонарь — и стал дожидаться ночи.

Ночью выпали на небе такие большие и яркие звезды, каких я еще не видел — я светил фонариком на карту и глядел на небо — все совпадало, звезды висели на своих местах. Но хотя они все и были вписаны кем-то в карту, все равно оставались независимыми и таинственными, и скоро я отложил атлас, стал смотреть на небо просто так, как будто чего-то ждал от звезд или старался их понять.

Потом на заводе вылили чугун, небо осветилось светло-красным и очень долго не остывало, а я ждал терпеливо, когда же оно утихнет, включил фонарь и листал атлас, не зная, чем заняться.

Тут трава зашелестела слабо, и кто-то подошел ко мне. Я и не узнал сначала — кто, только когда он сел рядом, на мою телогрей-

ку, так что мне пришлось подвинуться, я понял, кто это, и удивился, а может, даже и испугался.

— Привет, сосед,— сказал он, и я почувствовал, что от него пахнет вином, как от брата по воскресеньям. Я ничего не ответил, испуганный, потому, что до этого он ни разу со мной не заговаривал.— Ты что, шпион, что ли?

— Смотрю на звезды, небо,— тихо ответил я.

— Зачем тебе звезды?— Он взял атлас, и я подумал, что он сейчас что-то с ним сделает, но он только закрыл его и отбросил назад, за спину.— Космонавтом хочешь стать?

— Нет. Я просто так. Интересно же.

Он молчал, глядя на небо, и я тоже молчал, не зная, о чем с ним говорить.

— Они ж мертвые,— вдруг сказал он с какой-то злобой,— глянь, мертвые,— висят и не греют никого.

Я тогда и не понял, почему он вдруг такое сказал и так зло, только удивился — какого тепла он от звезд ждет? Он поднялся и пошел, тяжело раздвигая траву. Я посветил фонариком, нашел атлас, но больше смотреть не стал. Пошел домой и улегся, но долго не засыпал, мне как-то гордо и радостно было внутри, что он, взрослый и самый сильный, сидел со мной и разговаривал, и мне уже казалось, что он не случайно на меня набрел, когда домой возвращался, а давно приметил, как я по ночам у оврага сижу, и пришел ко мне поговорить. И так я долго обо всем этом раздумывал, что в конце концов получалось, что мы с ним давно друг к другу

тянулись и теперь стали друзьями. Я заснул такой счастливый, как будто бы свершилось то, о чем я долго мечтал.

Утром я выскочил во двор ни свет ни заря и торчал там все время, хотя делать мне во дворе было нечего. Я ждал, когда он выйдет на крыльцо и заметит меня. Я подмел дорожку к калитке, подобрал все щепки у сарая, где брат дрова рубил, и увидел, что он стоит, по пояс голый, у умывальника и обливается водой. Мы встретились глазами, и он кивнул, а я улыбнулся. А потом побежал назад, к дому — так разволновался, что и забыл, куда шел.

Весь день следил за их двором — но он как ушел куда-то с утра, так больше ни разу и не появился, а я возился с кроликами и покрасил калитку с одной стороны, потому что на другую краски не хватило.

Ближе к ночи я опять взял атлас с фонариком, но к телогрейке еще свою куртку прихватил — чтобы нам сидеть было удобней, и пошел к оврагу.

Холодно было, и я сразу замерз, закутался в куртку, но телогрейку не тронул, она рядом расстеленная лежала, потому что я был уверен, что он придет, просто не может не прийти, если я о нем весь день столько думал. И о том, что он не придет, я боялся думать, потому что тогда бы все рухнуло — ведь на улице, при всех, он меня по-прежнему не заметит, я это понимал.

Я сидел очень долго, прислушиваясь ко всем шорохам,— в траве шелестело что-то незримое, с шоссе доходил шум машин, но ничьих шагов я так и не услышал. Несколько раз задре-

мывал на мгновения, но просыпался испуганно от страха, что что-то прослушал. Так и просидел до тех пор, пока край неба не начал светлеть, а он так и не пришел ни в ту ночь, ни в следующую. Но я верил, что он когда-нибудь придет.

Я лежал и все это вспоминал. Все, связанное с ним, навсегда во мне застряло крепко и выходило из самых глубин памяти легко и ясно, совсем не затертое временем. Я лежал, но вдруг неспокойно стало, прямо до волнения внутри, и я встал, надел телогрейку и пошел к двери.

— Ты куда?— крикнула мать, когда я уже был в сенях.

— Дров наколю.

— Да Иван наколол, куда же ты на ночь глядя!

Но я уже стоял на пороге — и захлопнул дверь.

Колоть я не собирался, сил после дневных шатаний не было, но когда постоял на крыльце с минуту и почувствовал, как мороз пробирает, решил попробовать поколоть дрова. Зашел в сарай, там было темно, хоть глаз выколи, топора на месте не было, и я немного посидел на поленьях. От темноты в сарае было холоднее, чем на улице, и я скоро вышел. Только вышел — и фонари на улице погасли, осталась одна тусклая лампочка у магазина напротив. Не знаю, сколько я простоял посреди двора — смотрел на небо с тонким блеклым месяцем, оглядывал улицу и опять словно что-то слушал, словно чего-то ждал. Пробежал куда-то наш кот с вытянутым вдоль земли

хвостом. Я стоял и смотрел по сторонам, а от соседнего дома даже немного отвернулся. И стоял так до тех пор, пока не очнулся, потому что услышал, как в соседнем доме заскрипела дверь. Сердце мое дрогнуло, я оглянулся и увидел, что в полосе света стоит он. Загремела цепь, Цыган заворчал, но он прикрикнул — и пес умолк, вернулся в будку. Потом вспыхнула и погасла в ладонях спичка, и на том месте остался точечный огонек, такой красный в темноте — я смотрел на него и дрожал, меня бил озноб. Огонек то поднимался, то уплывал вниз. Я стоял и боялся, что сейчас крикну что-нибудь — окликну или поздороваюсь, и стиснул зубы покрепче. Ведь он меня узнал сегодня, я по глазам видел, что узнал, но не сказал же мне ничего. А может, все-таки не узнал, и тогда стоит мне сейчас окликнуть его, он отзовется — и мы пойдем навстречу друг другу. Но я стоял и ни на что так и не решился. Огонек полетел в сторону от крыльца, и дверь захлопнулась.

Я прошел к себе, разделся и лег поперек кровати, закутавшись в одеяло. Меня трясло, и опять болела голова — не от холода, я редко простуживаюсь, если даже сильно промерзну. У меня нерв в голове семь лет назад защемился, и с тех пор часто голова начинала болеть ни с того ни с сего, а если чуть поволнуешься — мучаешься несколько дней. Мне в такие дни хотелось лежать с закрытыми глазами и ни о чем не думать.

Я лежал и знал заранее, что сейчас в мозгу прокрутится — все, с ним связанное. Но мне больно было думать, голова пополам раскалывалась, и тогда я решил не думать ни о

чем, а представить что-нибудь светлое и красивое. И увидел розовые цветы колючек за нашим домом, в которых копошились маленькие черные жучки,— цветы были освещены солнцем так, что казались прозрачными, и были совсем близко от моего лица. Но никого я не обхитрил, потому что колючки росли над тем самым оврагом, у которого я наблюдал небо.

Мать меня уже ругать тогда начала, что я лунатик, пропадаю по ночам неизвестно где. Ей непонятно было, что я по ночам за домом делаю, потому что астрономию я забросил, но каждый вечер тащился к оврагу с телогрейкой и сидел там даже в туман часа по два. Я сидел вроде бы и безнадежно, но все равно верил и ждал. Сидел и вспоминал, сколько раз и где видел его днем. Я тогда уже был один, сам по себе, как будто сторонний наблюдатель — со своими никакой связи не было, а про старших и говорить нечего было. Старшие на нас внимание обращали только тогда, когда из нас пользу извлечь можно было — послать куда-то, что-то принести, девушек из общежития вызвать, а если пошутить хотели — подзывали «Москву показать» или что-нибудь в этом роде. Вот я и ходил один — ни с теми, ни с другими. Только когда старшие собирались на бревнах у Горячки, я иногда подкрадывался сбоку, со стороны осоки, и слушал, о чем они говорят. Слушать там особенно нечего было — они анекдоты рассказывали или вспоминали, где вчера были и что там делали, но когда начинали решать, куда сегодня им податься, тут я настораживался — если соберутся куда-нибудь на всю ночь, до утра,

то, значит, и мне к оврагу выходить бесполезно. По ночам они иногда уходили в деревню, километров за семь от поселка, к колхозной конюшне — там уводили потихоньку лошадей и катались всю ночь, а под утро возвращали.

Поначалу, когда они замечали, что я подслушиваю, кричали мне что-нибудь или галькой бросались, но потом перестали обращать на меня внимание, как если бы рядом с ними просто никого не было. Я видел, как он иногда в мою сторону словно невзначай взглядывает, и так ему благодарен за это был, что ничего большего не требовал и по ночам, когда не дожидался его, уходил домой без всякой обиды. Когда он на меня поглядывал, я в этот миг живую нить между нами чувствовал, от всех скрытую тайну, хоть вся тайна и была в той ночи, когда мы парой слов перекинулись. Я много думал, почему именно к нему так прирос, а не к брату, который так много хорошего для меня делал,— и понял, что брат любил меня за то, что я его брат, а тут чужой совсем, взрослый, принял меня как равного и помнил, что я есть. И как мало нужно было, чтобы я полюбил его.

Я почти весь июль прождал понапрасну, и все же он пришел. Я уже домой собирался, опять без всякой обиды на него, а тут он и вышел откуда-то сбоку, бесшумно, как кошка, нагнулся и вытряхнул на мою телогрейку кучу яблок. Оттянул рубашку и вытряхнул. Меня как током пронзило, все внутри похолодело от волнения и радости, и я скорее подвинулся на самый край, чтобы и он сел. Он отгреб яблоки на середину и сел.

— Ешь,— сказал и сам откусил яблоко. Я взял яблоко, попробовал — оно было сладким, как мед, и сочным, брызнуло во все стороны. Я сразу понял, что это «золотые», из сада Осташовых — только у них во всем поселке такая яблоня была. Осташиха моей матери приносила по нескольку штук, угощала. А муж Осташихи в милиции работал.

— Поймает он тебя,— сказал я, даже яблоко расхотелось есть.

— Пусть,— ответил он и так сказал, словно сам и напрашивался. Мы ели молча, но их было много, и все, что осталось, он забросил в овраг, в самые камыши. Мне стало холодно. Я дрожал мелко и даже зубами слегка постукивал.

— Замерз, что ли?— спросил он.

Я слегка прижался к нему плечом и почувствовал, сколько в нем тепла и силы, а моя голова у его подбородка была.

— Накройся,— сказал он и сдвинулся с телогрейки, а сам на земле остался. Я накинул телогрейку, но дрожать не перестал. Он прилег на траву, оперся на руку и в небо смотрел.

— Ты чего, на звезды больше не глядишь?— спросил он.

— Надоело,— ответил я.— Я здесь просто так теперь каждый день сижу.

Мне хотелось, чтобы он знал об этом, а он, может, и знал, если с яблоками сюда пришел.

— Я тебя ждал, думал, придешь, и тогда, если захочешь, я тебе про звезды буду рассказывать,— сказал я самое сокровенное, как вырвал из себя, и внутри сразу разлилось теп-

ло. Я все сказал, и теперь слово за ним оставалось.

Но он ничего не ответил на мое признание, только положил руку мне на затылок, словно потрепать хотел или погладить, и она сползла и осталась на моем плече. От его руки мне стало совсем тепло. Мы молчали, и никакого большего счастья мне не было нужно, я как голодный зверек был, который вдруг насытился и осоловел.

— Ты куда-нибудь далеко ездил?— вдруг спросил он.

— Нет,— ответил я, не шевелясь и не поворачивая к нему головы, боялся, что он тогда руку уберет.— Только в Москву с братом.

— А я нигде не был. Уехал бы куда глаза глядят. Хоть сейчас,— сказал он, все глядя в небо.— Вот паспорт получил, на работу теперь пойду, денег заработаю. Тогда поеду на Север. Или к океану, матросом устроюсь.

Убрал руку с моего плеча и сел, обняв колени.

Я потихоньку поглядел на него, увидел, какой он весь сильный и крепкий, и понял — так и будет. Он поедет на Север, устроится матросом и будет плавать по всему свету. А до этого ему нужно заработать денег — Татьяна, его мать, работала в магазине уборщицей и каждый день пила. А отца у него никогда не было.

И сам себе в ту минуту я показался таким маленьким, слабым и противным, потому что хоть и мать у меня не пила и был старший брат, который приносил с завода много денег,— и все равно я, такой щуплый и хиляк, ни разу не подумал о том, что хорошо бы

устроиться матросом. И я словно нечаянно опять прижался к нему плечом — мне показалось, что часть его силы обязательно перетечет в меня. И правда, я что-то тогда почувствовал. А говорить мы больше ни о чем не говорили, посидели немного и разошлись по домам: у огородов он похлопал меня по плечу в знак прощания, но ничего не сказал.

Вот и все, что было между нами,— то, что сделало меня тогда счастливым, потому что появился в поселке человек, с которым я стал связан живой нитью.

То, что потом произошло, не так легко рассказать. Я так много думал об этом, что та ночь в моей голове высветлилась вся до последней мелочи и все семь лет каждую эту мелочь хорошо помнил. И когда слушал рассказы матери или еще кого-нибудь о той ночи, видел, что у них все совсем по-другому выходит, а сам рассказать не мог. Не мог я им всем рассказать о нем, и о наших встречах, и как я к нему относился — они бы все равно не поняли.

Я тогда ходил за той компанией везде — ходил, если он там был. И если слышал, что ночью они пойдут к конюшне, то тоже одевался потеплее и шел — не вместе с ними, но как будто и с ними.

И в ту ночь тоже пошли, только они все были пьяные — из города вернулись, с танцплощадки. Они всегда пили, если ездили на танцы в город,— наверное, для смелости, чтобы не чувствовать себя хуже городских. И он тоже был пьяный, и я не любил его таким, потому что тогда между нами сразу возникало отчуждение, он совсем про меня забывал и ни разу

не смотрел в мою сторону — та нить рвалась, и мне в такие моменты было тоскливо и больно.

Пока шли лесом, орали во весь голос, вспоминали, что на танцах было. Но как стали подходить к конюшне, приутихли, чтобы сторож не проснулся — да сторож и так знал, что они иногда лошадей уводят покататься, но никогда ничего плохого не случалось. Остановились на опушке, двоих за лошадью послали, а я отошел в сторону и присел на пень.

Сколько я с ними ходил к конюшне, всегда только издали смотрел, как они катаются, а мне страшно хотелось хоть раз в жизни прокатиться на лошади. Но просить я и не думал — не боялся, а просто даже немыслимым казалось — у них попросить, когда они сами очереди ждут. Я думал иногда, что если бы он сейчас вдруг приказал им дать лошадь мне, они бы и не пикнули, но он мне не предлагал. Да и я все это несерьезно думал, ничего я от него даже в мыслях требовать не мог. Я знал, что ему нельзя обратить на меня внимание — тогда в их глазах он что-то потеряет, а этого нельзя было делать, он власть свою над ними любил, он очень гордый был и должен был во всем над ними стоять. А значит, ни одной слабости не мог показать — такой у них закон неписаный.

Лошадь привели тогда одну и совсем старую, заморенную клячу — то ли в темноте не разобрали, то ли сторож спугнул, и они поспешили. Кляча темная такая, с жалким хвостом — не кляча, а один скелет. Отвели ее дальше в лес, по просеке, и стали сначала ругаться — кому первому, но потом поделили очередь и начали клячу гонять.

Гоняли и в кругах своих уходили все дальше от конюшни. Я шел за ними по краю просеки, по кустам, чтобы их особенно не раздражать и не попадаться лишний раз на глаза, и только боялся, что они так незаметно уйдут очень далеко. А они все и уходили, не замечая, но в конце концов их остановила кляча — они ее так уже загоняли, что она на ногах еле держалась. И когда один, черный такой и вертлявый, вскочил на нее, она и с места не сдвинулась. Он бил ее жердью, а она вздрагивала только, а ребра у нее так и ходили ходуном. Тогда черный слез с нее и стал ругаться, а потом вдруг достал нож. Они многие с ножами ходили, я это знал, и когда еще один тоже вынул нож, я понял, что сейчас с клячей будет.

Я задрожал и присел, так мне страшно стало, но тут увидел, как он подошел к черному и сначала сказал громко —«сука!»— и что-то добавил, но я не слышал, потому что видел лицо черного и лица всех остальных, и понял, что вся их злоба и возбуждение могут сейчас против него обратиться. Я закричал как полоумный и побежал прочь. Помню, как несколько раз падал, цепляясь за что-то на земле, и услышал, что меня кто-то догоняет. Я изо всех сил рванулся через кусты, но тут вдруг понял, что уже никуда не убегу,— и остановился. И только остановился и посмотрел назад, как тот, черный, ударил меня с размаху в плечо — очень сильно ударил, они, видно, меня за доносчика приняли. Ударил, не сравнивая меня с собой, что мне всего одиннадцать и ростом я на две головы ниже,— это в их правилах было — бить

не сравнивая, и я полетел. У самой земли со всего маху стукнулся о дерево. И тут я заснул, провалился в такую глухую черноту, где как будто и жизни уже не было.

Не знаю, сколько я там, под деревом, спал, но когда открыл глаза, толком ничего не понимая, увидел его. Он сидел рядом и держал мою голову у себя на коленях, и я увидел его руку у самого своего лица — руку почему-то я очень запомнил, она такая большая и сильная была, как у взрослого мужчины, и я долго ее рассматривал, прежде чем он заметил, что глаза у меня открыты.

— Встать можешь?— спросил он.

Я хотел ответить, но язык не шевелился, и я попробовал встать, но смог только сесть. Голова плыла, плечо, в которое меня ударил черный, окаменело, и где-то внутри там сидела такая боль, что меня стошнило, как только я приподнялся,— может, от боли, а может, от всех переживаний — меня всегда от страха тошнило.

— Держись,— сказал он и обхватил меня за бок, а я впился в него здоровой рукой. Вторая рука совсем не поднималась, такая боль в плече была. Потом я уже плохо помню, как мы по лесу шли — шли очень долго, может, несколько дней, а я то засыпал, то просыпался — и видел, как мы тащились по болоту — он меня на руки взял, а сам по воде шел.

И когда выбрались к поселку, солнце уже светило вовсю. Он перетащил меня через овраг за нашим домом, присел, тяжело дыша, а я прислонился к нему боком, и от солнечного тепла у меня в голове пошли красные круги. Потом он опять меня поднял и приставил к нашему плетню на огороде.

— Ты тихо иди,— сказал и пошел к себе, оглядываясь на меня, и последнее, что я тогда хорошо запомнил — рубаха у него на спине вся была в крови.

Тут красные круги поплыли еще сильнее, я цеплялся рукой за каждую стойку плетня и шагал вперед — мне казалось, что шагал, а потом повалился на землю и опять заснул в непроглядной черноте очень надолго.

Моя мать под утро начала меня искать — не нашла у оврага и побежала по дворам, а потом подняла на ноги и нашего милиционера. Брат же утром, возвращаясь из ночной смены, заметил мою желтую рубаху в лебеде у плетня — телогрейку я в лесу оставил, там, где сидел и смотрел, как черный бьет клячу.

Меня отвезли в нашу больницу, а потом в городскую, потому что сломалась ключица и было сильное сотрясение мозга. В больнице я лежал очень долго — голова не проходила, и поначалу я без конца терял сознание. Пока я лежал там, словно про все забыл — и про него, и про лошадь, и все, что меня связывало с прежней жизнью. То есть не то что забыл, но там, в больнице, меня ничего по-настоящему не волновало.

Я вернулся домой в октябре, когда наши давно начали учиться, и от них я потихоньку узнал все, что было в поселке без меня.

Клячу ту все-таки прирезали, и сторож утром, обнаружив пропажу, заявил в милицию и показал прямо на них, потому что знал, кто может быть виноват. И дело пошло — наш милиционер, Осташов, все остальное им при-

помнил, что раньше было — и драки с ножами, и кражи мелкие, и бог знает сколько всего туда приплюсовалось, так что после суда из нашего поселка увезли троих — и его тоже, как главного в этом деле. Мать моя в суде выступала, говорила, какая они все шпана, и он — в первую очередь, она его с детства знает и ничего хорошего от него не видели, и что вся эта шпана до полусмерти избила ее сыночка, маленького мальчика, который в жизни никого не трогал.

Я тогда еще слушал эти рассказы внимательно, но как-то равнодушно, с пустотой внутри и ничего близко к сердцу не принимал, только копил все в памяти, никак над этим не задумываясь и не переживая. В голове у меня нерв защемился, мне в больнице сказали. В школу я еще два месяца не ходил, сидел дома или лежал и все время чувствовал в затылке этот дурацкий нерв, как он там защемлен и мешает мне вернуться к чему-то, что в прошлом было для меня очень важным.

И то, что его не стало, тоже меня не волновало.

А где он, толком никто не знал, и от Татьяны ничего нельзя было добиться — она как будто забыла про него с того самого момента, как его увезли. Говорили, в какой-то колонии и где-то далеко, и ничего больше не знали.

А потом я пошел в школу, когда голова перестала слишком часто болеть. И опять наступило лето, и с того случая прошел целый год.

В поселке и думать давно забыли обо всем этом, их занимали свадьбы, похороны и про-

чее, но чем больше все об этом забывали, тем чаще начинал об этом думать я.

У своих я теперь как бы героем считался, раз в такой переплет попал, и ходил с ними купаться на Горячку, а по вечерам — на те бревна. Наши уже курили, таская папиросы у отцов,— я тоже решил было, но голова после одной папиросы начинала раскалываться, ничего приятного я не чувствовал — и не стал курить.

Вроде бы вся моя жизнь пошла к лучшему, потому что один я уже не был, никто меня не дразнил, и я сидел на бревнах как равный со всеми остальными. Только однажды, как-то вечером, болтали обо всем подряд, что в голову придет, и вспомнили про тот случай. Привязались ко мне, чтобы я им поподробнее про лошадь рассказал, но я ответил, что они больше меня знают, потому что я тогда ничего не видел, а спал под деревом. И они отвязались.

Но во мне вдруг словно что-то прорвалось, открылось — то, что я сам от себя хотел скрыть и прятал поглубже. Я будто по новому кругу пошел и опять стал думать о нем.

Я начинал что-нибудь делать — книгу читать, телевизор смотреть или есть — и вдруг ни с того ни с сего что-нибудь всплывало из памяти — как он яблоки мне принес, или одно его лицо — такое большое и близкое, что все точечки видно. А если всплывало что-то, то и все остальное поднималось на поверхность, и никуда я деться уже не мог.

Я как будто все время старел от этих воспоминаний — как увижу что-нибудь из того периода, так обязательно что-то новое мне от-

крывается — и в нем, и во мне самом, и все это наслаивается в мозгу, так что в следующий раз все больше приходилось вспоминать, и так до бесконечности.

Я вспомнил из всех чужих рассказов, что и лошадь ему приписали, и что никто из тех, кто там был, не сказал на суде, как все по правде было. Я вспомнил, как он крикнул черному, зажавшему нож — «сука!»— и что-то добавил. И понял, что никто из них на суде никогда бы ничего в его защиту не сказал — такое у них правило было: все так все. А я, единственный, кто мог за него вступиться, тоже ничего не сказал.

Но я сам себе не мог сказать точно, был ли он там, в лесу, когда с лошадью такое делали, потому что спал в это время под деревом, и, может быть, очень долго. И кровь у него на рубашке вспомнил — чья кровь? Может, он с ними дрался, когда пытался лошадь отстоять, а может, вместе с ними был — я не мог этого знать.

Я думал об одной лошади и все-таки не мог поверить, что он был вместе с ними.

Я не мог в это поверить, когда вспоминал о мертвых звездах — потому что если он почувствовал, что звезды мертвые, для всех нас, кто на земле живет, они мертвые — значит, он все живое им противопоставлял, все живое должен был чувствовать, как самого себя, и всем живым дорожить. Если он с такой ненавистью о мертвых звездах сказал — значит, не мог, никак не мог то с лошадью делать, что мне потом рассказывали. Ведь если сможешь лошадь ножом пырнуть, кровь и ее больные глаза увидеть, да не испугаться того, что

делаешь, а в тебе ничего не дрогнет, когда своей рукой из жизни делаешь смерть, думая, что ты хозяин жизни, в то время как ты только и способен из живого мертвое создать, а обратного тебе не дано — тогда ты и сам безвозвратно мертвый, и никогда тебе самому из мертвых уже не воскреснуть.

Все это не сразу ко мне пришло, я переходил в своих мыслях с круга на круг и долго, трудно в себе все это выстраивал. Мне сны снились, как мы с ним встречаемся — и я спрашиваю: «Ты там был?» — а он молчит или исчезает куда-то, так я и остаюсь со своим вопросом.

И все-таки я не верил, что он был вместе с ними. Так я в него верил.

И тем ужаснее было, когда я понял, что предал его. Я тоже это как-то не сразу сообразил, а постепенно, и так же постепенно росли во мне ужас и стыд. Сначала я вспомнил, как закричал тогда и побежал — не к нему побежал, чтобы помочь, а — прочь, в лес, только чтобы себя спасти, не видеть и не знать про страшное. Вот чего вся моя преданность стоила — и когда я это понял, меня охватили отчаяние и стыд, и это был не просто мальчишеский позор, когда струсишь.

Логика отводила меня от этого стыда — какую помощь я мог оказать ему там, где они стояли с ножами, но я ненавидел такую логику, она противна мне была какой-то своей нечистотой, и, с какой стороны ни поверни, все равно я выходил опозоренный. А потом я вспомнил, как он нес меня по лесу — никто так и не узнал об этом, потому что в больнице меня ни о чем не расспрашивали — врачи запретили,

а потом все равно поздно было. Да и лошадь была лишь приложением к общей сумме, а значит, если бы я даже доказал на суде, что с лошадью он ничего не делал, ничего бы не изменилось и ничем бы я ему не помог.

Но это опять была все та же грязная логика, потому что по большому счету я все-таки его предал. Может, он вовсе и не рассчитывал на мою помощь, но только где-то внутри он должен был ждать этой помощи — не ради дела, которое все равно бы иначе не повернулось, а просто потому, что он был человек и меня принял за человека.

Может быть, я слишком много об этом думал и всего накрутил, чего и не было, да только я не мог не думать, и постепенно все мои мысли свелись к ожиданию нашей встречи. Не могло бы так случиться, чтобы мы не встретились, и я семь лет все ждал этого дня и готовился к нему. Я придумывал слова и тут же отметал их, потому что я хотел сказать ему о многом.

А о нем никто не знал семь лет. Кто говорил, что он мотается где-то по дальним краям, и что опять во что-то попал, и что это, видать, ему на роду написано. Я прислушивался к этим слухам, но все время имел внутри свой собственный индикатор, и сколько дней было за эти семь лет, когда я настораживался в ожидании, а день, которого я столько ждал, пришел почти вдруг — если бы не сон, то совсем без предупреждения.

Я сидел, завернутый в одеяло, и голова горела, пока я думал, как же мне теперь подойти

к нему, если я в автобусе ему не кивнул и у калитки не поздоровался. Потому что я должен был первым к нему подойти, если столько груза на мне лежит,— и может быть, он все-таки узнал меня, но ждал. Теперь, когда подошло так близко то, о чем я думал эти годы, я вдруг растерялся и мучился сильнее прежнего, а слов найти по-прежнему не мог.

Не знаю, как я заснул — кажется, боль вдруг отпустила внезапно, и я просто провалился в сон, пустой и без всяких видений.

Утром я открыл глаза и увидел, что так и лежу поперек кровати. Тикал будильник, было полседьмого,— я по воскресеньям все равно рано встаю, по инерции. За стенкой храпел брат — он из ночной возвращается в шесть и будет спать до двух. А мать уже чем-то гремела на кухне. Я сначала слушал все эти звуки, прежде чем изнутри нахлынуло вчерашнее.

И я вдруг почувствовал, что могу опоздать. Сам не знаю, что такое, только заметался, оделся наспех и вышел на кухню.

Сел у окна, а мать начала жарить яичницу.

— Спал бы да спал себе,— сказала она.— Хоть бы раз в неделю выспался как следует.

Я стал есть, а сам все глядел в окно, на дорогу. Потом пил чай и опять смотрел в окно.

Мать убрала посуду, а я взял с буфета книгу — наверное, жена брата читала,— и стал листать. Мне нужно было сидеть на кухне — из окна моей комнаты был виден меньший отрезок улицы, а сидеть на кухне просто так было

бы странно, я всегда сидел у себя. Я читал по нескольку строк — и глядел в окно. Так ничего и не понял, о чем было в той книге — то любовные сцены, то какой-то сыщик, который подслушивал из-за шторы. Потом я все-таки отложил книгу и пошел к себе за учебником по начертательной геометрии, хотя никакая геометрия мне в голову тоже не полезла бы. Я долго искал портфель, который мать успела засунуть под стол,— и когда я вернулся на кухню и только сел у окна, как увидел его.

Он, в шапке и вчерашней куртке, уже задвигал щеколду, стоя на улице. Мне стало страшно, что я мог так легко его упустить, задержись еще на секунду. Я смотрел, словно оцепенев, как он пошел по улице, к остановке, опять так же быстро и сильно, как шел вчера к дому. И тогда я бросился к вешалке, схватил пальто и выскочил, на ходу его натягивая, а мать от растерянности даже не успела ничего крикнуть мне вслед.

Я видел его спину уже далеко впереди и не знал, скрываться мне или открыто идти за ним и что он подумает, когда поймет, что я за ним иду.

Он шел и ни разу не оглянулся, хотя я боялся, что он почувствует мой взгляд — так я в его спину смотрел. Он шел, а я бежал прихрамывая и догнал его у самой остановки. Там стояла большая толпа, все больше женщины — они по воскресеньям в город, на «толкучку», ездили, и мы, как подошли одновременно, так и слились с толпой, только с разных сторон. Но я глаз с него не спускал — да его хорошо было видно, он выше всех был.

И еще я заметил, что многие на него смотрят — может, узнали, а может, гадали — кто чужой в поселке объявился.

Потом подошел автобус, все полезли, а он всех пропустил, сам у двери притиснулся, и я начал бояться, что если он вздумает сойти где-нибудь поблизости, то я не успею продраться к двери, потому что очутился в середине, зажатый со всех сторон. И когда я, поднявшись на цыпочки, увидел, как он остановки через две сошел на снег, то чуть не закричал, но он только старуху какую-то выпустил, а сам опять вошел. Шофер объявил, что если кому нужно выходить, пусть нажмут кнопку у двери, и тогда я стал смотреть на кнопку у передней двери — потянется он к ней или нет.

И так мы доехали до автобусной станции, где вышли все.

Тут я мог просто подойти к нему и заговорить — но опять что-то мешало мне, я стал весь скованный и решил, что еще немного подожду, а потом подойду. И если бы он взялся тогда колесить по всему городу, я бы так и ездил за ним всюду, выбирая момент для своих слов. Но колесить он и не собирался.

Он пересек площадь перед автостанцией и купил в киоске папиросы, но не закурил, спрятал коробку в карман и зашагал куда-то уверенно — надо же, столько лет прошло, а он все в городе помнил. Он пришел на трамвайную остановку.

Я спрятался за стеклянную будку на остановке, в ней такие щели меж полосок стекла, а стекло толстое непрозрачное — меня не было видно, а я мог хорошо наблюдать в щель.

Он стоял спокойно, глядя в ту сторону, откуда должен был появиться трамвай, а я смотрел на его лицо, и меня вдруг одолела тоска.

Он такой одинокий стоял, бездомный и неприкаянный, и лицо у него было совсем мальчишеское. Он смотрел в сторону трамвая, но взгляд его уходил куда-то намного дальше, словно он видел океан, по которому плыл его корабль. И те, что стояли вокруг него на остановке, может, думали, что он обычный, как все, и никто, кроме меня, про него ничего не знал. И вдруг та живая нить, которую я тогда, в детстве, чувствовал, опять натянулась между нами.

Нужно было только выйти из-за будки и вложить руку в его ладонь. И сказать ему все, о чем я думал все эти годы. Нужно было сказать, что я думал о нем, что я мучился и ждал этой встречи.

Но я ничего не сделал, не подошел и не сказал. Я не знал, как переступить невидимый порог между двумя людьми. И еще мне было страшно, что он все-таки забыл меня и все, что было когда-то, что он уже не тот, прежний, и оттолкнет меня, и засмеется.

Подошел трамвай, но он в него не сел, а достал папиросу и закурил, и я понял, что он не просто так решил поездить по городу, иначе не стал бы ждать определенного трамвая.

Он стоял прямо рядом со мной, только стекло нас разделяло, и я мог просунуть палец в щель и потрогать куртку на его спине. От такой близости руки у меня похолодели и сердце застучало как пулемет. Я смотрел в щель одним глазом и видел его голую шею —

шарфа то ли не было совсем, то ли сбился вниз, и от этой голой шеи моя тоска разрослась еще больше.

Он пропустил два трамвая и успел выкурить еще одну папиросу, а потом подошла «девятка», и он сел. Я тоже сел, но только в другой вагон, и прильнул к стеклу, чтобы видеть, что делается в переднем. Трамвай загрохотал, разгоняясь под гору, и я несколько раз стукнулся лбом о стекло.

А он сидел у окна и смотрел не отрываясь — разглядывал, наверное, что в городе изменилось. И я смотрел его взглядом и как будто впервые видел высотный дом, который стоял уже четыре года, новый универмаг и Дворец культуры перед ним. Но в любую минуту я готовился броситься к двери, только он сидел спокойно, а мы уже подъезжали к конечной. А конечная была — вокзал.

И тогда я понял, что он уезжает.

Он вышел — и я с ним, поплелся прямо след в след, решил не скрываться больше и только жутко напрягся, как перед прыжком, потому что тот миг настал, и теперь я скажу — вспомни и прости меня и никуда не уезжай. Я стал мысленно просить его, чтобы он оглянулся и чтобы это произошло скорее. Но он ни разу не оглянулся, пока мы шли к вокзалу.

Он шел спокойно и равнодушно, как человек, у которого нет ничего и никого и который не ждет извне никакого тепла.

Мы прошли в зал ожидания, где объявляли поезда один за другим — то на юг, то на Москву. Он уселся глубоко в кресло, вытянул ноги и так сидел, глядя в окно и словно ничего не слыша. Я подумал сначала, что он ждет

своего поезда, но время шло, и я догадался, что он, скорее всего, даже не знает, что он будет делать дальше. Уборщица начала мести пол, сидящие подымали ноги и двигали свои чемоданы. Когда уборщица дошла до него, он встал и пошел в буфет. Там он купил булку и стакан кофе. Я тоже купил булку и стакан кофе и стал за соседний столик. Есть я не хотел, нервы весь желудок в комок сжали, но я жевал эту сухую булку, и меня чуть-чуть не стошнило — от напряжения. Я смотрел на него не отрываясь, только он ел не спеша и по сторонам не глядел, а уперся взглядом в стол, на котором были сухие крошки и грязные бумажные тарелки. Доел булку, допил весь кофе до капельки — и пошел, а я за ним, так и оставив все на столе.

По радио опять что-то объявили — и он повернулся к выходу, хотя сначала направился к скамейкам в зале. Так неожиданно повернул, словно мгновенно что-то решил для себя, и, все быстрее и быстрее, пошел к подземному переходу и спустился в него.

Я побежать быстро не мог, колено болело и плохо сгибалось, я просто скакал и стал даже от чего-то задыхаться. Я тоже спустился в тоннель, и когда я был на одном конце, он — уже в другом. Когда я взобрался по лестнице, ведущей на платформу, он поднимался в вагон, у которого стояла проводница в белой шапке.

Я дохромал до этого вагона и сам себя уже не помнил, вид, наверное, у меня был странный, и проводница, что уже стояла наверху, смотрела на меня с сочувствием.

— Тебе в какой вагон, парень?— крикнула она.— Садись быстрее!

Но я ничего ей не ответил, а медленно пошел вдоль вагона.

Я слушал, как слегка свистнул тепловоз, поезд дернулся, но опять остановился. Я ковылял, припадая на больную ногу, и смотрел в окна. Народа было мало — поезд шел на юг, куда зимой никто не хотел ехать, и сидели какие-то женщины в шерстяных платках, потом, в одном окне, цыгане, они над чем-то хохотали, показывая большие золотые зубы, а я весь трясся, как в лихорадке, и все шел вдоль этого вагона.

Когда я увидел его, поезд уже тронулся.

Он стоял в тамбуре и курил.

Поезд плыл, и мы встретились глазами всего на несколько секунд. Он смотрел на меня спокойно и равнодушно, как можно смотреть из окна поезда на чужого, незнакомого тебе человека, стоящего на перроне станции, где ты наверняка никогда не сойдешь.

Скоро от поезда осталось одно темное пятно вдали, а потом и оно исчезло.

Тут я вспомнил, что забыл в зале ожидания перчатки, и пошел туда.

Перчатки валялись под сиденьем. Я натянул их и уселся, даже шевельнуться не было сил, не то что куда-то идти. Внутри было совсем пусто, и то напряжение сразу пропало, словно я упал с крючка, на котором долго висел.

Я так и знал, что никогда не подойду и ничего ему не скажу.

Внутри стало легко и пусто. С тех пор у меня никогда не болела голова.

Праздничный гусь

Гусь ночевал в сарае, а весь день тихо гулял по газону, огороженному низким заборчиком. Он шуршал жухлой осенней травой, ничего в ней не находя, и часто залезал под желтый колючий куст у стены сарая. Садился и замирал, кося по сторонам круглым смирным глазом.

Хозяйка, низенькая рыжеватая Тонька, привезла его от своих родителей месяц назад. Там, в деревне, гусь показался ей большим и белым — он ходил по зеленому лугу в окружении мелкого молодняка как царь, поворачивая голову грозно и изящно.

Но за этот месяц, который гусь прожил в городе, он как-то сжался, полинял и притих. Старый чугунок, приспособленный ему под кормушку, был всегда полон — но гусь, нехотя и словно через силу поклевав чуть-чуть, отходил от него скучно и равнодушно, зато пил много воды, а напившись, садился под куст.

Тонька, возвращаясь по вечерам с работы, первым делом шла к загончику. Гусь не признавал в ней своей хозяйки и, сидя под кустом, глядел на нее строго и укоризненно.

— Квелый ты квелый,— говорила Тонька,— опять ничего не жрал. А деликатесов у меня для тебя нету.

Тоньке уже и странно было — вот тебе на, привезла откормить — везла и думала, каким он станет к Седьмому ноября, когда придет в гости Альберт Иваныч: бутылка наливки есть, водочки купит, а посередине стола будет ле-

жать розовый ароматный гусь — Альберт Иваныч как-то сказал, что лучше гуся из духовки нет ничего на свете. За этот месяц и гусь поплохел, и Тонька к нему уже как-то привыкла. Даже сидя на работе и пристрачивая на машинке квадратные карманы к черным халатам, она по нескольку раз на день вспоминала о гусе, так одиноко сидящем в своем закутке, как если бы дома у нее оставался кто-то совсем беспомощный — ребенок или старик. Тонька уже стала забывать, что гусь переехал в город только для того, чтобы его съели.

Октябрь выдался теплый и сухой — окна в цехе распахивали настежь, и в обеденный перерыв, когда стихал шум двенадцати машин, было слышно, как шелестят на ветру подсыхающие листья тополя. Ветер то лениво болтался где-то в самых верхушках деревьев — и тогда солнце, упавшее на подоконник, пригревало Тонькину руку так же жарко, как и летом,— то спускался вниз, игриво закручивая у земли легкие шуршащие вихри, и веяло тогда уже не летней прохладой, и корявый сучок с жалким коричневым листком сбоку, залетая на подоконник, напоминал о том, что все умирает. Тонька не любила думать о смерти — она отщелкивала сучок пальцем и тянулась к сумке за пудреницей — в любую минуту из своего лекального цеха мог прийти Альберт Иваныч.

Она все время ждала, когда появится в дверях его большая, с двумя залысинами по бокам, голова, но как только видела его, сразу делала вид, что не замечает — на людях Альберт Иваныч держал себя с ней строго: бо-

ялся слухов. Но цех все равно догадывался — потому что как только Альберт Иваныч входил, Тонька чуть-чуть краснела и становилась сильно оживленной, говорила что-то смешное и сама же громко хохотала.

А пока Тонька сидела на работе, к гусю подходили другие жильцы. Первым выползал на двор Мишка — он всегда просыпался рано, ни свет ни заря, выходил и сначала долго сидел на лавке у подъезда, продирая сонные и бесцветные с похмелья глаза. Он сидел в дряхлом сером пиджаке, в котором ходил круглый год, с грязно-сиреневым шарфом вокруг шеи — у Мишки вечно болело горло, и озирал давно знакомый двор так, словно попал сюда впервые.

Мишке было тридцать лет, он был недоучившийся психолог и хотя уже давно позабыл, чему его когда-то учили в университете, любил наблюдать и анализировать свои собственные ощущения, и качество каждоутреннего похмелья, и состояние окружающего мира. Сначала мир плыл и качался, временами гас до темноты, а потом вдруг становился новым, чистым и насыщенным совершенно прозрачными красками, как если бы пыльное окно, через которое ты долго наблюдал, вдруг взяли и протерли. В такие моменты Мишка был счастлив. Люди просыпались, завтракали, гремя тарелками, хлопали дверями и торопились на работу, ничего вокруг не замечая, и Мишке казалось, что он один во всем мире видит эту утреннюю красоту — по-осеннему мягкие солнечные блики под липой, листья, тихо опадающие вниз от легкого ветра, блеск лакированного булыжника дорожки, ведущей к

подъезду,— во всем была сладкая праздничная гармония погожего утра, которую чувствовал один он, заброшенный всеми, в своем потрепанном сером пиджаке.

Так, в одиночестве и наслаждении, Мишка мог сидеть долго, но вскоре выходил на крыльцо дядя Коля, наряженный в фиолетовый спортивный костюм с красными лампасами на штанах.

— Здорово,— говорил дядя Коля и тянул носом воздух,— прохладно, однако.

Мишке не казалось, что прохладно, но он согласно кивал.

Дядя Коля, старчески кряхтя, нагибался, доставая носки тапок, подпрыгивал раз пять и шел в дальний угол двора, к сараям, где у него был устроен турник. Там он еще прыгал, махал руками и глубоко вздыхал, приподнимаясь на цыпочки, а гусь, сидящий в загончике, глядел на него с тоскливым интересом.

— В форме всегда надо быть,— говорил дядя Коля гусю и, напружинивая свои дряблые мускулы, пытался подтянуться на планке — цеплялся за нее кончиками пальцев, а дальше дело не шло.

— Вот Валя с соревнований приедет — опять на стадион буду ходить. Валя у нас чемпионкой страны летом стала, на велосипеде ездит — это тебе не траву щипать.

Он садился на столбик ограды и расстегивал «молнию» на кофте.

— А мы с тобой — что? — говорил он с печальной задумчивостью.— А были ж когда-то и мы рысаками... Теперь-то у нас с тобой крылышки уже подрезаны.

И опять начинал упражнения.

Мишке, когда он глядел с лавки на прыгающего дядю Колю, становилось все хуже и хуже — как отработанный рефлекс, поднималось в нем чувство тоски и какой-то глубокой вины — перед кем и перед чем — он не мог понять. Сто лет ему, этому физкультурнику, думал Мишка, а прыгает себе каждое утро да еще в молодых девиц влюбляется. Вот приедет Валька из Франции — опять будет на все ее тренировки ходить и на трибунах кричать: опять же, у старика дело есть. Тонька — уж совсем, казалось, никчемная, а и та чем-то занята, и та чем-то живет.

Мишка смотрел на свои потертые брюки, крутил бахрому шарфа и придумывал дело себе, но когда представлял, что будет ходить на работу, как Тонька, и сидеть там по восемь часов, ему становилось совсем тяжело и страшно. А спортом он никогда не занимался, всех спортсменов считал недоумками, и Валькина стезя тоже казалась ему пустой и бессмысленной.

И так, сколько он ни сидел, ничего не мог придумать для себя.

— Дядь Коль,— говорил он, подходя к старику со спины,— дай хоть полтинник.

— Старая песенка,— отвечал дядя Коля, не отрываясь от своих занятий,— ты и так уже три восемьдесят должен.

— На вокзал пойду — заработаю. Завтра пойду. Сразу всё отдам.

— Слышали уже. Ты каждый день на вокзале работаешь. А три восемьдесят два месяца не отдаешь.

— Ну полтинник-то...

— Бог тебе даст, у него всего много,— дядя Коля останавливался, застегивал «молнию».— У Сычихи иди проси. Она богатая, а ты все на мои восемьдесят рублей сесть норовишь.

И уходил домой, еще немного попрыгивая на ходу.

«Провались ты пропадом, прыгун засохший»,— думал Мишка и присаживался на ограду.

— Ну ты, дурак,— говорил он гусю,— все сидишь? Вот Тонька скоро тебе голову свернет и в духовку засунет. А тебе и невдомек.

Он залезал в загончик и подходил к гусю. Тот сначала испуганно отбегал в дальний угол, но потом покорно давал себя погладить, словно в смущении от ласки отворачивая голову в сторону. Мишка сидел рядом с гусем на корточках и, трепля его по боку, перебирал пальцами жесткие сероватые перья.

— У тебя хоть корм есть,— рассуждал он, глядя на чугунок с мокрым хлебом,— а мне и не принесет никто. Даже полтинника жалеют. А Сычиха и подавно не даст.

Он глядел на Сычихины окна в первом этаже — два темных окна с витыми железными решетками, обросшими густым и еще зеленым плющом.

— Горемыки мы с тобой,— Мишка гладил гуся, и тот что-то тихо клекотал про себя. Вот и Сычиха идет, легка на помине,— Мишка сразу забывал про гуся, и на лице его появлялось напряженное выражение.

Сычиха редко выходила во двор — она жила замкнутой и непонятной дому жизнью. Сидела целыми днями у окна за плющом, из-за

которого в комнате всегда было темно и прохладно, среди старой мебели, изъеденной жучком, и, глядя на улицу, не замечала почти ничего, все думала о чем-то своем. А если появлялась во дворе, то только затем, чтобы развесить белье на веревке меж лип или в сарай.

Сычиха развешивала белье, медленно и аккуратно пристегивая его прищепками, и кольцо, надетое на худой безымянный палец, сверкало на солнце желто и тускло.

— Утро хорошее,— говорил Мишка, вылезая из загончика,— как раз белье сушить.

Сычиха кивала молча и продолжала развешивать полотенца.

— Помочь?— спрашивал Мишка, когда она доходила до края высоко поднятой веревки.

Та отрицательно качала головой и, подтягиваясь на носки, доставала до веревки сама.

Мишка подавал ей из таза прищепки и, выбрав момент благодушия на Сычихином лице, говорил бодро и как бы между прочим:

— Вы мне три рубля не дадите до завтра?

Она сразу не отвечала, оглядывалась на Мишку спокойно и, приглядевшись к его жалкому настороженному лицу, так же спокойно отказывала, качнув головой.

— До завтра,— повторял Мишка.

Сычиха отворачивалась и шла к своему тазу, а Мишка уходил прочь со двора, гордо закинув конец шарфа за спину. Он уходил униженным и оскорбленным — обижался он не на Сычиху и не на дядю Колю, а на свою горькую нищую судьбу.

Он еще немного стоял у ворот, разглядывая то небо, то прохожих, и шел во двор магазина, что был за два квартала, где знакомая продавщица, разрешая ему помочь разгрузить машину, давала ему в награду поесть и даже немножко выпить. А что было с Мишкой до вечера, не знал никто, чаще всего и сам Мишка этого не знал, потому что весь день, кочуя по дворам и подъездам, возвращался домой ночью, успокоенный, а иногда не возвращался совсем, ночуя прямо там, где его застала ночь.

Сычиха уходила домой не сразу — она еще раз оглядывала развешанное белье, словно боясь потом чего-то недосчитаться, и тоже подходила к гусю. Она вытаскивала из кармана залатанного фартука то печенье, то завернутую в бумажку вареную картошку и, перегибаясь через ограду, протягивала угощенье. Она ждала, когда гусь подойдет — и гусь правда подходил, откликаясь на ее зов: будто из приличия, брал только несколько крошек, а потом глядел на старуху внимательно и почти ласково.

— Гага, гага,— говорила старуха, высыпая оставшееся в ладони на землю.

Ее звали Мирдза. Она приехала из Латвии сорок лет назад, во время войны, и теперь уже никого не было в доме из тех, кто помнил ее приезд и ее погибшего мужа.

— Манс лабиняйс,— говорила она, глядя, как гусь подбирает с земли крошки,— манс милулитис.

Она уже плохо помнила и Латвию, и родителей, только смутное видение большого чистого двора возникало у нее перед глазами — по

двору ходили крепкие белые гуси, и она любила в детстве подманить гуся — и вдруг схватить его покрепче, прижать к себе — тяжелая и сильная птица сначала ошарашенно глядела одним глазом, а потом начинала выдираться из рук, напрягая тугие крылья,— и почему-то особенно четко помнила она то странное ощущение, когда крепко держишь обеими руками выдирающегося гуся и чувствуешь свою собственную силу и власть над ним и кажешься сама себе такой уверенной и счастливой, словно держишь в руках не гуся, а свою собственную судьбу.

И старуха гладила гуся, обхватывая его тонкую шею своей худой рукой в коричневых пигментных пятнах.

Еще заходила во двор второклассница Анюта, которая жила в соседнем доме. С утра Анюта ходила в школу, а днем, когда не с кем было играть, занималась с гусем. Анюта мало видела гусей в своей короткой городской жизни, и ей нравилось разглядывать его оранжевые лапы и клюв и как он чистится, засовывая голову куда-то под крыло. Анюта уже читала «Каштанку» — и, оглянувшись, не видит ли кто, пробовала дрессировать гуся — легонько била его хворостинкой по лапам, желая, чтобы гусь прыгал через нее. Но гусь не прыгал — он уходил к своему кусту и смотрел на Анюту, прося ее не лезть.

Анюта скучала — она ждала вечера, когда Тонька, дядя Коля и Анютина бабушка соберутся во дворе за столом и будут играть в лото. Бабушка давала Анюте по десять копеек — «на разжиток», и иногда Анюта выигрывала и отдавала бабушке долг, но когда

проигрывала, то злилась и плакала от досады.

А дни были еще долгие, и Анюта, по нескольку раз забегая во двор, все стегала и стегала гуся по лапам или устраивала ему гнездо из опавших листьев.

Так гусь дожил до самого праздника.

Накануне, утром, Мишка вышел на лавку с такой мутью в душе, какой у него не было давно. Утро стояло тихое и уже морозное. Мишка долго кашлял, затягивая потуже шарф и запахивая пиджак, но гадкая нервная дрожь все равно не унималась. На правом ботинке не было каблука, и там торчали наружу три гвоздя, как шипы у спортивных тапок. Мишка снял башмак и постучал им о камень. Гвозди согнулись и больше не торчали, но стоять в таком ботинке было трудно. Мишка вспомнил, что через месяц придет зима — нужно будет надевать коричневое пальто без воротника, оставшееся еще от отца. А на ноги надевать будет нечего.

Клен у сарая стоял с оголенной макушкой, только на нижних его ветках еще держались яркие красные листья. Пробежала стороной длинная черная кошка, держа что-то в зубах, с опаской косясь на Мишку. Он пригляделся и понял, что кошка несла мышь. «Живодер»,— сказал про себя Мишка и вспомнил про гуся.

— Печальный твой конец пришел,— сказал он, подойдя к загончику. Гусь глядел тревожно и даже немножко взволнованно: он часто вертел головой и подрагивал крыльями.

Мишка, согреваясь, засунул руки под мышки. Он глядел на гуся с сожалением и одно-

временно с жестокой тайной радостью — обреченный гусь, одиноко торчащий у сараев, стал навевать на Мишку тоску — ему теперь показалось, что со смертью гуся в его, Мишкину, жизнь придут хоть какие-то изменения.

Тут он увидел, что по дорожке идет Валя. Она была одета во что-то яркое и безумно модное, а в руке у нее был большой кожаный чемодан.

— Мишка, привет! — крикнула Валя и поставила чемодан на крыльцо.

— Бонжур! — ответил Мишка.— Как там лягушатники поживают?

— Нормально,— сказала Валя и распахнула куртку.

— Чемоданчик поднесть? — спросил Мишка, насмешливо и заискивающе глядя в длинное Валино лицо со свекольными губами.

— Да я тебе и так дам,— она хмыкнула и достала из кармана брюк рубль,— на, от такси осталось.

— Мы по доброте душевной,— сказал Мишка и взял ее чемодан,— как не уважить знаменитую соседку.

Он втащил чемодан на второй этаж. Валя открыла дверь и опять протянула Мишке рубль.

— Не надо,— вдруг почему-то сказал Мишка и положил рубль на стол,— обойдусь.

Ему стало плохо. Голова вдруг закружилась и так резко повела вбок, что Мишка пошатнулся. Он остановился, удержавшись за край стола, и вперил взгляд в сервант, на котором стояли хрустальные и бронзовые кубки.

Валя ничего не заметила — она копалась за его спиной в своем заграничном чемодане.

— Миш,— сказала она, чем-то шурша,— вот, подарочек возьми. И показала ему белую спортивную майку. На майке куда-то бежал, занеся одну ногу, улыбающийся атлет, а поперек и наискось было написано красными буквами: «Квик».

Мишка слабой рукой взял майку и, ничего не сказав, вышел на лестницу. Навстречу ему шел дядя Коля в какой-то молодежной клетчатой рубахе и с букетом белых хризантем.

— Приехала?— спросил он возбужденно и облизал пересохшие губы.— А я на базар за цветочками бегал.

— Дядь Коль,— тихо сказал Мишка, морщась от слабости. Он хотел поскорее спуститься вниз и зайти к себе.

— Черт с тобой,— сказал дядя Коля и вытащил металлический рубль,— на. Теперь четыре восемьдесят будет.

Мишка зашел в свою комнату, полежал немного, но воздух в комнате был тяжелый и теплый, и он опять вернулся на лавку. Сначала он думал, за сколько можно продать Валькину майку — но понял, что для этого еще нужно куда-то идти и кого-то искать, а сил у него не было. Он сидел и грел в кармане рубль. Потом начал долго кашлять в кулак, глядя в землю.

Когда немножко отпустило, он разглядел у сарая Сычиху. Та кормила гуся, гладя его и что-то приговаривая.

«С гусем разговаривает»,— удивился Мишка и, поднявшись, медленно пошел к загончику.

Сычиха посмотрела на него и выпрямилась. Мишка и сам не знал, зачем подошел — денег он просить не собирался. Он стоял и молчал, вдруг смутившись чего-то.

А старуха смотрела на его ветхие ботинки.

Она полезла в карман, достала из круглого кошелька трехрублевую бумажку и протянула ее Мишке.

— На, возьми,— сказала она, и в ее голосе был сердитый акцент,— тебе надо есть и лечиться.

Мишка взял деньги.

Старуха спрятала кошелек в карман, оправила фартук и не спеша пошла к подъезду. Мишка доложил трояк к рублю и, зажав деньги в руке, почувствовал себя богатым и несчастным одновременно.

Подошла Анюта, в зеленой куртке с капюшоном. Не боясь Мишки, она взяла хворостину и, показав на гуся, сказала доверительно:

— Я его дрессирую.

— Дрессируй,— ответил Мишка, горько улыбнувшись,— у него вот-вот премьера будет.

Он тронулся было к воротам, но потом раздумал, чувствуя в себе вялость и нежелание куда-то идти, и пошел домой. Дома он выпил стакан холодного чая без сахара, лег на койку поверх вытертого ватного одеяла и заснул среди бела дня, чего с ним давно не случалось.

А Анюта, совсем потеряв чувство жалости, била и била гуся по красным шершавым лапам — тот не мог понять, что происходит, и

от отчаяния стоял не шевелясь, никуда не убегая, и только подрагивая крыльями.

— Ну же, гусь, ну,— уговаривала его Анюта.

Но тут она заметила хозяйку — ловко и незаметно отшвырнула хворостину в сторону и стала гладить гуся ласково и нежно.

— Хороший мой, хороший,— говорила она громко, чтобы слышала Тонька.

— Вот тебе и хороший,— сказала Тонька, подойдя к ограде и присев на столбик.

— Теть Тонь,— живо обратилась к ней Анюта,— а мы в лото сегодня будем играть?

— Будем, будем, и в лото будем играть, и во всё,— сказала Тонька и отвернулась.

Анюта подпрыгнула и побежала к своей бабушке сообщать, что вечером будут играть в лото.

— Вот тебе и хороший,— повторила Тонька.

Потом долго сидела, пристально рассматривая спущенную на чулке петлю.

— А я-то думала,— сказала она,— что ему семья нужна, ребеночек нужен. Думала, обрадуется. А ему никто не нужен.

Припухшие веки ее покраснели.

— Скажу, думаю, под праздник — как раз радость будет какая. Жениться — бог с ним, но я думала, хоть обрадуется. Один же как перст. А то б семья была.

Гусь клекнул и, вытянув шею, помотал головой.

— И что мне с тобой, горемычным, делать? Назад, что ли, отвезти?

Тонька вытащила из плаща носовой пла-

ток, вытерла глаза и высморкалась. Потом поднялась и, чуть пошатываясь, побрела к подъезду. Пришла домой, выпила валерьянки и села у окна, погрузившись в печальные думы.

И пусто было во дворе до вечера, лишь сходила в магазин Сычиха, принесла крупную желтую картошку и бутылку молока да один раз вышел на крыльцо дядя Коля — постоял, посмотрел на зашторенное окно, где отдыхала Валя, сплюнул в сухую траву у дорожки и скрылся, пошел смотреть чемпионат страны по хоккею.

Гусь же подошел к чугунку и долго жадно клевал, притопывая ногами,— как будто вновь, после долгого перерыва, почувствовал, как прекрасна жизнь.

А вечером вышли играть в лото. Анюта пришла без бабушки — та чего-то вдруг расхворалась — но зато выпросила у нее целых двадцать копеек.

Вышла Тонька, присмиревшая и как будто сразу постаревшая, дядя Коля в спортивном костюме с накинутой на плечи телогрейкой, выполз и Мишка — все удивились про себя такому случаю, но приняли и Мишку — он положил перед собой рубль и участвовал в игре на полных правах.

Быстро смеркалось. На стол падали листья, и Анюта сдувала их на землю. Холодный ветерок задирал карты — их придавили по краям камешками.

Мишка не успевал с непривычки закрывать клетки, дядя Коля шипел на него, Анюта жадно заглядывала в мешок, стараясь подглядеть нужные ей бочонки, а Тонька сидела безучаст-

но, только машинально закрывая цифры копейками. Ей сильно везло — она выигрывала почти беспрестанно. «Потому что не любит никто»,— думала она про себя и тут же скорее спешила переключиться на другое, чтобы удержать подбегающие слезы.

— Гуся-то завтра будешь резать? — спросил у нее дядя Коля в перерыве между конами.

— Да бог с ним, пусть живет,— вздохнула Тонька,— живого — да резать?

— А везла зачем?

— Да так, сдуру.

— Надо было тогда сегодня на базар снести да продать,— сказал дядя Коля,— под праздник-то подороже можно было.

Тонька ничего не ответила.

Когда уже стемнело и зажгли лампочку у входа, вышла наряженная Валя, и от нее пахнуло духами.

— На свиданьице?— ехидно спросил дядя Коля.

— А куда ж еще?— Валя перекинула сумку на другое плечо, мотнула головой и зацокала по булыжнику в темь, как ладная скаковая лошадка.

Дядя Коля потускнел и от рассеянности начал пропускать цифры.

— Конечно, кавалеров теперь хоть пруд пруди,— сказал он,— чемпионка.

— Молодая еще,— заступилась Тонька,— пусть гуляет. Хорошо, пока в радость, а печали потом придут.

— Мишк, а ты чего сегодня не в форме?— дяде Коле хотелось немного позлословить.

— Ангел ко мне явился,— ответил Миш-

ка,— сказал, поиграй лучше в лото, у дяди Коли трояк выиграешь,— и закашлял, сотрясая лавочку.

— Сгниешь ты, Мишка, — без сожаления сказал дядя Коля.

— Все сгнием,— ответил Мишка,— живем и гнием потихоньку.

И стали играть молча, только Анюта дрожащим от волнения голосом выкрикивала цифры.

Через пару конов она проиграла все свои деньги. Она отбросила карты на середину стола и огорченно сложила руки на коленях. Когда проигрывала, всегда чувствовала себя обиженной всеми и по-настоящему расстраивалась. Потом натянула капюшон и хотела уже встать, но тут глянула на кучку монеток около Тонькиной руки — и заплакала, сначала бесшумно, а потом в голос. Обычно ее успокаивала бабушка — давала ей еще денег или уговорами, а теперь Анюту некому было успокоить — она сидела и плакала, и все растерялись.

— Да будет тебе,— сказал дядя Коля негромко.

— У нас и так с бабушкой денег нет,— выговорила Анюта,— вы не знаете, какие мы бедные.

Мишка отодвинул карман ее куртки и ссыпал туда свою мелочь:

— Скажешь бабушке, что выиграла.

Анюта кивнула, но продолжала плакать.

— Господи, деточка, да что ж это такое!— вдруг выкрикнула Тонька, обняла Анюту и тоже заголосила вместе с ней.

Мишка молчал, опустив голову, и рассматривал свои грязные ногти.

— Эк вечерок,— крякнул дядя Коля, поднялся и взошел на крыльцо,— как схоронили кого.

И скрылся, звякая ключами.

Анюта с Тонькой стали утихать.

— Ты, деточка, не плачь из-за денег. У тебя бабушка хорошая, она тебя вырастит, станешь взрослой, найдешь свое счастье,— Тонька прижала Анюту к себе, а сама подумала — найдет ли?

Анюта встала, ощупывая в кармане мелочь, надвинула поглубже капюшон и молча ушла.

— Миш,— сказала Тонька,— как дальше-то жить?

— Жить да жить,— ответил Мишка,— пофилософствовать хочешь?

— Ничего я не хочу,— сказала Тонька,— покоя хочу.

— И нет нам покоя, гори — но живи...

— Пустобрех ты, Мишка,— она махнула рукой и ушла, кутаясь в платок.

Небо было черным и беззвездным. Ветер качал лампу у подъезда, и черная тень стола то съеживалась, то вырастала до забора уродливым углом. Клен у сарая ронял и ронял листья.

«Пьяным лучше быть,— подумал про себя Мишка,— как во сне твоя жизнь идет. А здесь только тьма да ветер».

В комнате было не лучше. Он посидел на кровати, свесив худые ноги с длинными желтыми пальцами, потом прилег, но взгляд его упирался прямо в семейную фотографию в рам-

ке — отец, мать и маленький Мишка посередине. Ему стало тоскливо и страшно глядеть на покойников — встал и перевернул фотографию лицом к стене. Но глядеть на задник рамки в клочьях паутины было еще страшнее, и тогда он погасил свет. Он долго и мучительно старался заснуть, но то слышал странную тихую музыку, льющуюся сверху, то скрип полов в своей комнате, то чьи-то шаги в коридоре — он понимал, что все это ему только кажется, но каждый раз вздрагивал и прислушивался.

А шаги были на самом деле — вернулась и легла спать чемпионка страны, а потом долго бродила по коридору Тонька, зажимая рукой рот, чтобы никто не слышал ее плача.

Утром первым в доме поднялся Мишка.

Он умылся, впервые чувствуя себя легким и бодрым за многие и многие дни, и надел под пиджак майку, подаренную Валей.

Когда он вышел во двор, прямо в солнце и утренний мороз, ему вдруг захотелось прыгать и кричать, как бывало в детстве, когда тебя выпустят на зеленый луг. Он пошел и два раза подтянулся на турнике. Хотелось поваляться в осенних листьях, как валяются от радости и избытка сил молодые щенки.

— Гуська, черт! — закричал он, заметив вышедшего из сарая гуся. Гусь клекнул и пробежался немного вдоль заборчика.

Мишка схватил гуся на руки, прижал его к себе и закружился вместе с ним на сухих, весело шуршащих листьях. Гусь разволно-

вался и гоготал, тщетно пытаясь вырваться из Мишкиных рук.

— Черт ты пернатый,— кричал Мишка,— никто нас с тобой не съест!

Он крутился, прыгал и кричал всякую ерунду, а потом подбросил гуся в небо высоко, как мальчишки подбрасывают мяч, когда играют в «штандер-штандер». Гусь подлетел вверх и тяжело упал на землю.

Мишка испугался, не зашиб ли он гуся, и бросился к нему.

Но гусь, встав на лапы, вдруг побежал вперед по дорожке, вытянув тонкую длинную шею, закричал что-то протяжное и гортанное, распустил свои широкие сильные крылья, захлопав ими с таким звуком, словно билось на ветру выстиранное белье, и вдруг взлетел над землей.

Он пролетел вдоль дорожки, как тяжелый истребитель, стал набирать высоту и силу, и его полет становился все легче и смелее.

Гусь поднялся выше ворот, потом выше пятиэтажного дома, минуя рогатки антенн,— и начал подниматься вверх, превращаясь в точку, сияющую в радостном утреннем солнце. Казалось, что он летит не по наклонной, а прямо ввысь, как ракета, вонзаясь в безоблачное небо.

Мишка стоял, не веря своим глазам, до тех пор, пока не исчезла белая светящаяся точка.

— Тонька! — закричал Мишка не своим голосом.— Тонька! Твой гусь улетел!

— Оглашенный, чего кричишь,— Тонька выскочила на крыльцо в халате, с серым от бессонницы лицом.

— Он улетел! — кричал Мишка, прони-

занный волнением от чуда.— Улетел! — и тыкал пальцем в небо.

Тонька глянула в сторону сарая.

— Продал, что ли? — спросила она растерянно.

— Я подбросил его, и он полетел,— Мишка разбежался и подпрыгнул, изображая полет.— Не веришь, что ли?

— Трепло ты,— сказала Тонька,— уж хоть бы не брехал.

— Да правда, улетел,— сказал Мишка уже негромко.

Валя прислушивалась к разговору, стоя у окна.

— Мишка, с первым апреля тебя!— крикнула она и рассмеялась.

— Он побежал по дорожке — и вверх,— твердил Мишка.

— Прохвост же ты,— сказал дядя Коля, делая упражнения руками.— У него ж крылья подрезаны. Сшиб на пару бутылок — и иди с богом, не темни людям мозги.

Мирдза тоже вышла на шум. Она стояла молча и улыбалась.

— Клянусь, что улетел,— Мишка и сам смотрел в пустое небо уже с сомнением.

— Мог, конечно,— сказала Мирдза.

— Так они у всех бы улетали,— возразил дядя Коля,— а то у всех живут, а этот улетел.

— А этот — улетел,— сказал Мишка.

Тонька махнула рукой.

— Да ладно, продал — и бог с ним,— сказала она,— с тебя и спрос невелик.

— Представляете, гуся сейчас видел! — вдруг раздался за ее спиной голос Альберта

Иваныча.— Над проспектом летел — народ прямо рты поразевал!

Он стоял в наглаженном коричневом костюме и держал в руках красный бумажный цветок.

Тонька замерла, не веря своим глазам, а Альберт Иваныч смотрел на нее радостно и несколько виновато.

— Я же говорил!— закричал Мишка.— Я вам говорил!

И пошел к воротам, засунув руку в карман. Он стоял у ворот возбужденный и отчего-то гордый и глядел, как по улице идет веселый праздничный народ. Шла к месту сбора колонна пединститута, и одна девушка с быстрыми коричневыми глазами глянула на Мишку кокетливо и с интересом. Мишка улыбнулся и еще долго провожал ее взглядом.

Вдруг кто-то тронул его за локоть. Он вздрогнул и увидел Анюту.

— С праздником,— сказала она.— Я на демонстрацию иду.

Мишка кивнул.

— Бабушка сегодня ангела видела. Говорит, летел по небу в белой одежде и крыльями махал. Она говорит, это ангел смерти за ней приходил.

— Гусь это был, а не ангел,— сказал Мишка смеясь,— самый обыкновенный гусь.

— Наш? — спросила Анюта, восторженно распахивая глаза.

— Наш,— подтвердил Мишка и взглянул на небо: ему на миг показалось, что он опять видит там живую сияющую точку. Но, приглядевшись, он понял, что это просто реактивный самолет, бесшумно и равнодушно скользящий над землей.

Свободная стихия

Федор работал в отделе торговой рекламы мастером. Художники делали эскиз, а он его претворял: из пенопласта или оргстекла выпиливал то два сросшихся кольца для салона новобрачных, то большой огурец для овощного магазина. Бригада у Федора была хорошая — Василий, тихий, словно всегда печальный, да Венька, только что окончивший ПТУ.

И дома у Федора был порядок — жена Люся, продавщица из галантерейного, и восьмилетний сын Руслан, который в школе уже начал изучать иксы и игреки.

Федор носил с работы потихоньку всякие куски и благоустраивал квартиру, насыщал ее деталями: антресоли, полки в кладовке, подставка для телефона, ящик для обуви — без дела он сидеть не любил.

Иногда он оставался после работы и пил вдвоем с Венькой, реже с художниками. Художники быстро напивались, начинали рассказывать похабные анекдоты и все на что-то жаловались, этого Федор не любил. А с Венькой ему было легко. Себе он наливал побольше, Веньке поменьше, закусывали луковицей и говорили.

— Скажи, например, чем отличается дерево от железа?— спрашивал Федор, но на вопросы сам не отвечал, а слушал, как рассуждает Венька.

Или Венька говорил, что Солнце вращается вокруг Земли, а Федор на яблоках доказывал, что наоборот, Федор всегда побивал в спо-

рах Веньку, потому что хоть у них у обоих и было по среднему образованию, но Федору было тридцать два года, а Веньке — всего семнадцать.

Однажды Федор остался с Венькой, заговорились и просидели до самой ночи. Говорили сначала о попугаях, какие они умные бывают и потому стоят очень дорого, перешли к дельфинам, от них — к живности вообще — что все твари разумны и даже таракан тебя понимает и что-то о тебе думает. А потом закрыли цех, навесили замок и пошли в парк.

Висела луна, и тени под деревьями были чернее мрака. Пахло черемухой и застойной водой с пруда. Сели и допили последнее из бутылки, которую Федор нес в портфеле. Замолчали. Черные ветки резали небо, и кое-где висели набухшие звезды. В траве, в прошлогодних листьях, шуршали то ли мыши, то ли гигантские жуки. Венька сидел на портфеле, а Федор растянулся на земле, не чувствуя ее сырости. С деревьев капало после недавнего дождя, но Федору казалось, что тают звезды. Он смотрел на одну, которая висела прямо над головой, и видел, как она то выбрасывает, то втягивает в себя лучи, и некоторые доходили до него и падали на лицо жгучими каплями. Федор раскинул руки в стороны, а ладони прижал к земле.

— Й-олки-палки,— сказал он вдруг тихо.— Жизнь.

— Встань, плащ изгваздаешь,— откликнулся Венька.

Федор молчал.

— Холодно, пошли домой,— Венька и правда весь дрожал.

Они поднялись и пошли из парка.

На широком проспекте не было ни души. Желтая коляска продребезжала мимо. Милиционер притормозил было, но раздумал и покатился дальше. На перекрестке Венька попрощался и вприпрыжку побежал домой.

Люся открыла дверь и, впустив Федора, стала пристально на него смотреть. Он молчал и не раздевался: вспомнил про портфель и думал, как быть.

— Пьяный, что ли?— спросила Люся. Федор не ответил, а смотрел на ее отражение в зеркале. Лицо у Люси было злое. Серьги-висюльки подрагивали тихо, словно хихикали.

— Пьяный черт, пьяный,— сказала Люся сама себе, как будто бы он был неживой.— Господи, а с плащом-то что сделал! Прямо скот, свинья настоящая! — И стала сдирать с него плащ.

— Да пусти ты,— сказал наконец Федор и снял плащ сам.— В парке был, измазал.

— Это с кем же ты по паркам плащи мажешь?— спросила Люся и прикусила губу.

— Иди-ка ты спать,— обрезал Федор.

Люся ушла, и он слышал, как она закрыла спальню изнутри: они сделали замок от кота Миньки, который любил там спать. Федор долго сидел на кухне, курил, потом вышел и курил на балконе. На душе у него было неспокойно — не из-за жены, а так, словно бы открылась вдруг в нем какая-то болезнь и теперь тянула тоскою. Докурив, он улегся на диване, накрыться было нечем, и он уснул

так, не раздеваясь. Кот тут же пришлепал из кухни.

С того дня все пошло наперекосяк. Люся не разговаривала, только норовила то дверью посильнее хлопнуть, то оба ключа забрать — навредить. Федор ходил молчаливый, и делать ему ничего не хотелось — ни с Люсей мириться, ни шкаф доделывать, и даже разговоры с Венькой ему стали надоедать. Как-то остались, Венька сел и начал выпиливать себе значок — буква «В» и череп с костями. Федор потихоньку пил и молча смотрел на работу.

— Федь, как думаешь — «В» простую или английскую сделать?— спросил Венька.

— Дурак ты еще,— только и сказал Федор и опять задумался о своем.

Ему хотелось чего-то такого, что и сам понять не мог: то ли любви, то ли новизны какой, только чтобы дух захватило. Он вспомнил, что и не был-то еще нигде — кроме Люськиных родителей, к которым ездил в Кривой Рог, да один раз с экскурсией по Золотому кольцу.

Заболел Федор. Затаился в своем желании и кое-как до отпуска дотянул, а вечером сказал жене:

— Поеду я завтра, Люсь. Путевку купил, в Ялту.

Люся сопротивляться не стала — отпуска у нее все равно сейчас не было, только что-то про дачу пробурчала. Собрала ему чемодан — но Федор в спальне все лишнее вытащил и сложил под кровать в ящик со сломанными игрушками. А потом, по дороге на вокзал, забежал к Василию и поменял свой чемодан на портфель.

На вокзале сидели на узлах: билетов не было. Федор побежал на платформу и попросил проводницу взять его до Днепропетровска.

— Проспись пойди,— сказала проводница,— на следующем поедешь.

Когда объявили отправление, Федор вскочил в пятнадцатый вагон и сказал, что ему надо в десятый. Заспанная проводница ничего не ответила, а махнула рукой: надо, так иди. Федор пошел по составу, набиравшему ход, все говоря, что ему в десятый, но в одиннадцатом нашел пустое купе, сел, прикрыл дверь и немножко выпил, а потом растянулся на матрасе и заснул. Через три часа вошли пассажиры по брони, и проводница погнала Федора к выходу, матюкаясь и стуча в него кулаками. Федор дал ей три рубля, и она не стала кричать милиционеру.

На здании вокзала горели буквы: «О ЕЛ». Федор благополучно проспал здесь до утра, а потом перехватил у кассы принесенный назад билет — до Сочи на сухумский.

Ехал он долго. В вагоне плакали младенцы, пели студенты, готовившиеся к какому-то смотру, было душно и пахло потом. Толстый грузин сидел возле девиц-студенток и, беспрестанно их перебивая, начинал «Сулико».

Федор решил все время смотреть в окно, чтобы видеть смену местности, но вскоре так устал от песен и духоты, что хотел сойти в Армавире, но подумал, что в Сочи, может быть, больше никогда не удастся съездить, и остался. За местностью он уже не наблюдал, а разговаривал через столик с пожилой жен-

щиной, которая ехала из Москвы, от дочери, и сошла в какой-то станице. Говорили, что фрукты будут дорогие — жара, а зимой много деревьев померзло, потом о московской дочери, о магазинах — что постоишь, да достанешь. Федором женщина не интересовалась, и он, выждав момент, сказал:

— А я художник. На натуру еду.

Женщина как-то замолчала на секунду, а потом ответила:

— Вот так-то. И простыни есть, только постоять надо.

Федор ее уже не слушал. Он немного обиделся за художников, что их и в грош не ставят. Больше разговаривать было не с кем — на верхней полке все время спал краснокожий морщинистый старик с белым пухом на голове, а четвертым в их купе был тот грузин, что сидел со студентками. Тогда Федор стал представлять себе Сочи. Он увидел ряды пальм, белые лестницы и черных девушек в белых трусиках.

...Асфальт в Сочи дымился, как адские сковородки. Федор отстоял за газировкой, выпил два стакана и пошел к старику-газетчику, стоявшему под тентом, спрашивать про гостиницу. Газетчик посмеялся и сказал:

— Ты и квартиру-то не найдешь. Палатку надо было брать.

Федор поверил газетчику и пошел просто бродить по улицам. Он бесцельно сворачивал в проулки, поел в полуподвальной столовой риса с кислой котлетой и двинулся дальше. В конце концов ему удалось выбраться на набережную. Он сел на скамейку, закурил и вытащил ноги из сандалий. Голова гудела, и хотелось

прилечь где-нибудь в теньке. Но Федор рассматривал экзотические деревья и проходящих мимо полуголых женщин. Потом с трудом поднялся, сандалии надевать не стал, повез их волоком.

Солнце садилось. Оно обливало весь горизонт красным светом, жгучим, как уходящий день. Федор доволок сандалии до полоски пляжной гальки, снял их и пошел босиком. Ногам, и без того притомившимся за день, от горячих камней было еще хуже. Федор побыстрее разделся у грибка и побежал в море. Он долго плавал, нырял, фыркал и становился все бодрее духом и телом. Выйдя из воды, он лег и, положив голову на портфель, стал смотреть в пустое лиловое небо.

Как только он лег, вокруг него начал бегать кругами маленький старичок в спортивных штанишках и желтой майке. Старичок бегал то в одну сторону, то в другую и прицокивал языком.

— Папаша, вы мне песком в глаза попадаете,— вежливо сказал Федор.

Старичок, казалось, только что его заметил, удивленно приостановился, а потом сел под грибок. Федор оперся на локоть и стал наблюдать море. Солнца уже не было видно, и только крошечное красное облачко висело у горизонта, словно отломившийся кусок светила. Море было ровным и гладким вдали, как замерзший пруд, и у стыка его с пляжем набегали булькающие волны.

Он вспомнил закаты на Оке, когда вот так же небо еще алеет, но кусты по берегам уже словно раздуваются от темноты и пахнет вечерней водой, а за изгибом реки, над город-

ком, виден легкий отсвет фонарей. Тоска проснулась в нем.

— Вот говорят — море, море. А что море?— обратился Федор к старичку.— Река лучше. Там хочешь — пальцем другой берег можно попробовать. Родное все. А тут как моллюск лежишь.

— Мо’е — это свободная стихия. П’осто не каждому дано ее понять,— сказал старичок и побежал вдоль кромки воды.

Федор еще раз искупался, подождал, когда высохнут плавки, оделся и тоже пошел. Пляж скоро кончился, и он брел в полной темноте, свернул на волнорез и, пройдя метров десять, уселся на камне внизу. Он не знал, что ему делать дальше — то ли пойти на вокзал, то ли переночевать на берегу. Прохлада с ночью не пришла — камни остывали медленно, а море не давало свежести.

Тут послышались шаги, и появились три девчонки. Они переговаривались вполголоса, и в темноте их движения были плавны и неуловимы. Девчонки прошли вперед, не заметив Федора, разложили шуршащие пакеты и стали снимать платья, а потом и все остальное. Голые, длинные, они бесшумно слезли в воду и слились с ней, только слышно было, как они переговариваются о чем-то. Потом одна из них громко засмеялась, но скоро все стихло: видимо, поплыли далеко в море.

Федор повел языком по сухим губам и закурил. Он ощутил в себе странное: картина, которую он видел сейчас, не возбудила в нем горячего желания, но погрузила в пучину какой-то большой тайны, которую он знал один,— девушки, не подозревающие чужого, их смутные

голоса и исчезновение в море. Пакеты белели на камнях, как сброшенная кожа царевен-лягушек. Федор курил и без напряжения всматривался в черную даль — он и не ждал возвращения девушек, ему казалось, что они больше не вернутся.

Прошло минут пятнадцать, Федор встал и пошел к берегу, потом полез вверх по склону, заросшему колючками, желая выбраться к фонарям, что светили на террасе склона.

Здесь были узкие мощеные улицы с темными садами и виноградными навесами у домов — кое-где под ними горели висячие лампы, там сидели и негромко разговаривали. Перелаивались собаки, где-то пели многоголосо и вразнобой. Федор шел как пьяный — то ли от усталости, то ли от только что пережитого, и ему и в голову не пришло попроситься к кому-то на ночлег.

В маленьком сквере под низкими разлапистыми деревьями слышались голоса. На газоне сидели люди. Парень с обвисшими усами, сидя по-турецки, негромко бренчал на гитаре, а остальные, кто сидя, кто лежа, переговаривались. Федор хотел пройти мимо, но его окликнули:

— Эй, подваливай к нам!

Федор послушно повернул на голос — все равно ему некуда было идти.

— Здрасте,— сказал он.— Я посижу с вами.

— Посиди,— ответил вислоусый.— Замочить хочешь?

— Хочу,— сказал Федор,— коль угостите.

Ему сунули в руки початую бутылку, и Федор стал пить вино из горлышка.

— Оставь,— сказал вислоусый. Федор оторвался от бутылки, и остаток допил худой парень, прислонившийся к дереву спиной. Федору стало тепло внутри, и он тоже подвинулся к стволу. С другой стороны от него сидела пара: девчонка в шортах и крупный красивый парень, по пояс голый. Свет от фонаря, проникая сквозь листья, падал на лицо девчонке мелкими, как мотыльки, пятнышками, а волосы, вздыбленные во все стороны, щекотали Федору шею — так близко они сидели.

— Давай, Саня,— сказал кто-то, не видный Федору, с той стороны ствола.

Федор подумал, что сейчас запоют, но вислоусый, отложив гитару, начал читать:

Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема,
шелестит по краям и приходит в негодность листва.
Вдоль дороги пустой провисает неслышная лемма
телеграфных прямых, от которых болит голова...

Красивый парень обнял девчонку и стал ее тихо целовать. Девчонка отвечала лаской, и это мешало Федору слушать внимательно.

...там жена моя вяжет на длинном и скучном диване,
там невеста моя на пустом табурете сидит...

Федору представился длинный и скучный диван, где сидит Люся, и ему вдруг показалось странным, что вот есть где-то Люся — может, есть, а может, и нет, а он, Федор, есть под этим деревом, с какими-то ребятами, а завтра он будет еще где-то, и как всё соединить в одно — непонятно.

Когда чтение кончилось, Федор спросил:

— Это кто написал? Чудно как-то.

— Пушкин,— ответил вислоусый.

— А вы, ребят, откуда?

— Из Ленинграда,— ответила девчонка.— А вы?

— Я из Москвы. Художник.

— Глазунов?— спросил кто-то.

— Нет. Бугаев,— чуть запнувшись, ответил Федор — хотел выдумать какую-нибудь фамилию покрасивее, но ничего в голову не пришло. Ребята больше ни о чем не спросили. Стали играть на гитаре просто так, без слов.

— Давайте споем «По аэродрому».

Ему не ответили, и он запел один.

— Пьете? — вдруг спросил кто-то громко. Перед ними стоял милиционер.

Ребята промолчали, а Федор растревожился:

— Почему пьем? Песни поем, стихи читаем. Вы, товарищ, не там смотрите.

— А ну-ка, марш отсюда! — скомандовал милиционер и для страху положил руку на рацию.— Шантропа.

Ребята встали, подняли гитару и ушли, так ни слова и не сказав.

— А ты потише,— сказал Федор.— Командир штопаный.

— Пошли,— милиционер взял Федора за рукав и потащил с газона.

— Ты меня голыми руками не возьмешь,— сказал Федор, будто хотел с милиционером подраться немного.— А в отделение поведешь, мне еще лучше, все равно спать негде.

— Во-во,— милиционер кивнул как бы в

подтверждение какой-то своей догадки.— Документы.

Федор достал из портфеля паспорт и профсоюзный билет.

— На, смотри, может, найдешь чего.

Милиционер все проверил и сказал:

— Отдыхать, значит, приехал. А я ж сам орловский. Соседи, значит.

— Дурак дурака видит издалека,— ответил Федор.— У меня тетка в Орле живет.

— А спать, что ж, негде здесь?

— Да я только сегодня приехал, не приладился еще.

— Я б тебя отвел по одному адресу, да у меня дежурство. Давай завтра встретимся.

— Не хочу я здесь прилаживаться, вот в чем штука-то.— Федор вытянул шею.— Все видел — море видел, пальмы видел, а больше и смотреть нечего. Домой поеду. Обратно. Дома-то лучше.

— Лучше,— согласился милиционер.

— А что ж ты сюда полез?

— Баба моя отсюда,— милиционер сел на лавочку, закурил и дал огня Федору.— А домой ты завтра не уедешь, билетов нету. Я тебе записку напишу Вальке, она камеры хранения там чинит. Уварову спросишь.— Он вырвал листок из записной книжки и что-то там написал.

Федор спрятал записку в портфель и спросил:

— И сколько ты здесь?

— Да седьмой год уже. Как отпуск — так домой еду, картох покопать, за грибами сходить. А здесь одно безделье круглый год — шантропа всякая да иностранцы.

— А ребят чего разогнал? Ребята хорошие.

— Да их не гнать, они под каждым кустом пристроятся. Знаю я их, шантропу.— Милиционер снял фуражку, и лысина его заблестела под фонарем.

— Строгий ты какой,— сказал Федор.— Тебе что, кустов, что ли, жалко.

— Ну ладно,— милиционер встал и надел фуражку.— Ты спи на лавке, не замерзнешь авось. Тебя никто не тронет, это мой участок.

Попросил у Федора папироску и ушел, а Федор заснул на лавке.

Разбудила его дворничиха.

— Вставай, друг,— сказала она, толкнув его метлой,— опохмеляться пора.

Вовсю пели птицы, и солнце сидело на самой макушке длинного тополя. Федор покурил и пошел на вокзал.

Вальки на месте еще не было, и он, поджав ноги под себя, наблюдал, как уборщицы моют пол жужжащими машинами.

Валька пришла через час, посмотрела записку и сказала недовольно:

— Вот черт, как что — так Валек, а у самого — не допросишься.

Федор не понял, про что она, и промолчал.

А еще через час он уже ехал в поезде и, растянувшись на верхней полке, безмятежно спал.

На следующий день, когда Люся вернулась из магазина, он приделывал к шкафу никелированные ручки.

— Господи царица небесная,— удивилась Люся,— приехал уже?

— Скушно там,— ответил Федор смущенно,— одна свободная стихия. И дачу надо кончать, а то потом некогда будет.

На даче он жил один, Люся приезжала только по воскресеньям.

Он достроил второй этаж и приладил большой бак для душа. По вечерам, полив помидоры, Федор садился на крыльцо и, подливая в стакан, слушал тихие звуки засыпающего дачного поселка. Постепенно набирая силу, разгорались звезды.

— Ленька-а! — доносилось с другого конца поселка.— Кино начинается!

— Сейча-ас!— кричал откуда-то с опушки леса неведомый Ленька.

Федору было сладко и спокойно. Он думал, что впереди еще пять дней на даче, а потом работа и Русик вернется из лагеря.

Он почти не вспоминал ни то свое ощущение в парке, когда он лежал под деревом, а на него капали звезды, ни морских русалок, ушедших в черную воду, ни свою шальную поездку, а если и вспоминал, то сам себе сильно удивлялся.

— Ленька-а! — раздалось опять.

— Иду! — отозвался Ленька совсем рядом. Он шел и спотыкался в темноте. Увидев Федора, он зашел в калитку и сказал:

— Дяденька, смотри, каких я светляков наловил. Шевелются.

По ладони его ползали светящиеся точки.

— Ты иди, иди,— сказал ему Федор.— Сегодня кино интересное.

И пошел закрывать за ним калитку.

Окно во двор

Мама совсем забыла наш подъезд: когда мы поднимались по лестнице, она все время спотыкалась о железные уголки ступеней.

Отломанная завитушка перил в начале первого пролета, кошачья подстилка на площадке, наша дверь, обитая дерматином. Раньше я всегда стучал в дверь пинком.

Теперь за дверью могло быть все что угодно: Елена, или чужие люди, или вообще угол от нашей квартиры оторвала бомба. И что сейчас нужно делать с этой дверью? — звонить, искать ключи или сначала спросить у соседей?

Маминого лица я не видел, но видел валик ее волос и как она подняла руку и зачем-то завела упавшую прядь за ухо, а лишь потом резко толкнула дверь. Дверь плавно заскользила, распахнулась, и мы остановились.

Напротив, у большого окна, сидела наша Елена и курила. В комнате ничего не было, кроме коричневого папиного кресла, в котором Елена сидела, старого расшарканного дивана с круглыми валиками и фанерного ящика с черными надписями наискось: «Нетто» и «Брутто».

— Леночка! — закричала мама с порога и бросилась к Елене.

Елена вздрогнула, обернулась и поднялась навстречу маме. Потом они сели на ящик и ничего не могли говорить, только смотрели друг на друга и на меня.

И я подумал, что все вернулось: оставалось только распаковать чемодан, маме — поставить

чайник, а нам с Еленой залезть на диван с ногами, и будет вечер, а во дворе, за высоким каменным забором, заиграет громкий оркестр.

Мама плакала тихо, а Елена глядела на меня. И я вдруг увидел, что передо мной сидит не прежняя Елена, моя сестра, а молодая женщина с серым лицом, курит папиросу и молчит, потому что все, что нас когда-то связывало — не забылось, но стерлось за три года разлуки, и мы ровным счетом ничего не знаем друг о друге, потому и молчим.

Наконец мама встала, утерла слезы и сразу оживилась, ожила первая — это всегда удавалось маме. Она взяла Елену за руку, потащила к чемодану, потом на кухню, и я слышал, как она начала говорить что-то — для мамы прежняя жизнь возобновилась, стоило ей войти в комнату, увидеть Елену и старые обои с цветами в золотых овалах, и все, что было там, в эвакуации, сразу ушло в прошлое.

Я заметил, как привычно мамина рука открыла дверь на кухню: дверь, плотно прикрытую, нужно было сначала приподнять немного, а потом уже толкнуть.

Елена только посмотрела, ведомая за одну руку мамой, с папиросой в другой руке, и мне страшно захотелось, чтобы она ко мне прикоснулась, но Елена прошла мимо.

Я сел в кресло и взял с ящика тонкую голубую тетрадку. На первой странице крупно и некрасиво было написано мною: «Восьмое декабря. Домашнее задание. Стоит сильный мороз. Дети катаются с гор...» В середине тетради, там, где начинались чистые листы, был

мелкий, падающий влево Еленин почерк, похожий на папин. Я ничего не разобрал и закрыл тетрадь.

И вспомнил ту Елену, и почему-то в майский день, последний день пятого класса, когда я, как сумасшедший, влетел в коридор, потом в комнату, откинул крышку рояля и, пробежавшись по клавишам, перевернулся и на руках пошел в Еленину комнату.

Там сидела на корточках полуголая Елена и застегивала черную замшевую босоножку. Увидев меня, она выпрямилась и скрестила на груди руки. Так мы постояли несколько секунд друг напротив друга — я вниз головой и Елена, а потом я упал, встал на четвереньки и пополз прочь, совершенно потеряв разум. Когда я уже вскочил на ноги и пулей понесся в коридор, услышал оглушительный Еленин хохот.

До самого вечера я шлялся по городу и все хотел забыться, но никак не получалось, и я краснел при воспоминании о случившемся, словно голым был я, а не Елена.

За окном смеркалось, а в комнате было совсем темно, от печки шло тепло, печка приучала меня к забытому дому, а я сидел на полу и пошевеливал угли тонким железным прутом. В темноте я только слышал голоса и чувствовал легкие наплывы дыма от дивана, где сидела Елена.

— Нам очень повезло, Леночка, ты даже не представляешь,— с чувством рассказывала мама, и я не видел, но догадывался, что она при этом медленно потирает коленки мягкими

кругообразными движениями.— Во-первых, с квартирой — нам с Волей сразу дали комнату, очень уютную. Правда, потом подселили женщину, но такая прекрасная женщина, моя ровесница, умная, интеллигентная, мы жили — ну, просто душа в душу. Она сама из Москвы, мужа отправили на фронт сразу же, а ее эвакуировали. А ведь знаешь, и Николай Арсеньевич там был, он нам с Волей очень помогал...

Я слушал и не слушал маму, потому что все, что она рассказывала, было сущей правдой и настоящей ложью. Я и сам не знал, как рассказать Елене, но я видел другое, совсем не то, что рассказывала мама.

Я видел вокзал маленькой станции, где какая-то светловолосая женщина схватила наш чемодан с крупами и мылом и убежала за угол вокзала. Женщину мы не нашли, но я хорошо ее запомнил, а на второй день я вдруг увидел ее и бросился к ней. Но ни мыла, ни крупы у женщины уже не было; видел, как совсем поздно приходили из госпиталя мама и Ирина Борисовна, приносили по кастрюльке крупяного супа и как я с жадностью его ел; видел Николая Арсеньевича, таскавшего нам мясные консервы и шоколад, и как он обнимал маму в парадном, и мне было стыдно за маму, а маме за себя, но она ничего не могла поделать.

Мама все рассказывала, Елена курила, а я шевелил гаснущие угли и думал о том, что ничего прежнего все равно не будет. Только мама очень хотела этого не заметить и сохра-

нить прошлое хотя бы в себе. Она встала, отряхнулась, побежала на кухню и загремела посудой.

Мы с Еленой остались вдвоем. Она сидела на диване, и во мраке бледными светящимися пятнами были ее лицо и спущенные с дивана ноги.

— Это ты? — спросила Елена.

— Я,— ответил я.

— Дважды два семь?— спросила Елена.

— Ну тебя совсем,— ответил я, вспомнив нашу детскую считалку, и почувствовал, как Елена улыбнулась.

— Э, как маленькие, затеяли! — Мама щелкнула выключателем, задвигала ящиком, стала сновать и греметь чашками. Мама всегда думала, что наш дом держится исключительно на ее суете. Все мы расселись вокруг ящика и стали пить чай, которого никто не просил.

— Ты знаешь, у нас там с сахаром очень трудно было,— сказала мама, прихлебнув из чашки.— Если бы не Николай Арсеньевич...

И вдруг, будто вспомнив:

— Подожди, Лена, а что же с Митей? Где он сейчас?

Елена вздрогнула, но спокойно, словно ей это ничего не стоило, ответила:

— Митя погиб, мама.

— Как?! Митя... Что ты говоришь! Не может быть,— мама заговорила быстро, сокрушаясь по-настоящему, но все же по-привычному, как часто сокрушалась о смертях за последнее время.

Тут до меня дошло, что ответила Елена,

и я уставился на мелко дрожащие Еленины руки.

— Ну, как же так,— все переживала мама,— я в декабре видела Ольгу Ивановну в последний раз, она получала от него письма...

И вдруг Елена, двинув ящик коленом, выскочила в коридор, а потом громко хлопнула входная дверь.

— Мам! — крикнул я и выскочил вслед за Еленой.

Она бежала легко. Я мчался за ней во весь дух, падая и ударяясь коленками, но она вдруг перешла на шаг, и мне наконец-то удалось ее нагнать. Я заглянул ей в лицо и побрел рядом. Лицо ее было совершенно спокойным, как тогда, за столом.

Не сговариваясь, мы повернули в темный двор с пустым двухэтажным домом. В распахнутое парадное со свистом втягивался ветер, и где-то в глубине коридора ржаво отзывалась дверь. Спотыкаясь о продавленные ступени, мы поднялись на второй этаж и остановились у окна. В темноте все поскрипывала дверь и изредка потрескивали встревоженные нами ступени.

— Куда выходит это окно? — вдруг спросила Елена.

— Во двор,— удивленно ответил я, потому что перед нами лежал двор.

Мы помолчали.

— Как ты жила?— спросил я.

— Как все, так и я. Жили-были, хлеб ели, воду пили.— Она поправила волосы и прислонилась головой к оконной раме.— С утра до вечера госпиталь. С вечера до утра одна. У окна. А потом... Митя.

Закусив губу, она вдруг стала тихо раскачиваться из стороны в сторону. Мне стало жутко рядом с ней.

— Ленка, Митя идет! — закричал я, свесившись из окна. Еще совсем далеко, на том конце улицы, шел Митя. Лица его я не видел, но видел Митину походку — он шел на своих длинных ногах пружиня, словно переступая через невидимые кочки, и был похож на Гулливера.

Елена тут же сорвалась, а я за ней, так вместе мы и открыли дверь Мите.

На нем была гимнастерка, а в руке Митя сжал почти в комок краснозвездную пилотку. Не было усов, и я в первый раз видел, как Митя держит голову совершенно прямо — она всегда была закинута чуть назад и вправо, как будто Митя все время к чему-то удивленно присматривался. Все новое сидело на Мите как-то странно, как с чужого плеча, и только знакомые глаза смотрели на Елену.

— Нет!!!— закричала Елена.— Нет! — И, бросившись к Мите, вцепилась в гимнастерку и так притянула его к себе, что маленькая металлическая пуговка отскочила далеко в угол, выхваченная с материей. Я полез искать пуговицу, а они стояли и смотрели друг на друга.

Тут с кухни прибежала мама, заохала, запричитала, сняла с Мити гимнастерку и начала пришивать пуговицу. Елена крепко прижалась к Мите, не помня ни обо мне, ни о маме, и целовала его в губы.

А потом мы все вышли на улицу прово-

дить Митю: мама его поцеловала в щеку, я ткнулся в него головой, а Елена только протянула руку.

— Только жив будь,— сказала она тихо.

Митя руку пожал и быстро зашагал семимильными шагами прочь, уходя навсегда, что, как мне сейчас кажется, мы все почувствовали. Елена стояла и держала на весу руку, где еще остались следы от Митиных пальцев.

Мама все сидела за ящиком и, как мы появились, ушла и затихла на кухне. Мы уселись на диване, как сидели раньше — лицом друг другу, облокотившись на валики. По спине стекал холод из открытой форточки, но вставать не хотелось, потому что я боялся спугнуть ощущение чего-то вернувшегося, призрак старой жизни, когда мы с Еленой так же сидели в темноте и тихо болтали. И если было лето, на танцплощадке за высоким забором играл духовой оркестр.

— Вы уехали и пропали, и ни одного письма.

— Мы тебе писали.

— Совсем одна была здесь. Все комнаты закрыла, только в этой и жила. Тетя Груня еще в нашем доме оставалась. Она умерла.

Я вспомнил беленькую старушку, гулявшую по вечерам в сквере. На ней всегда была круглая шляпка с двумя стеклянными вишенками сбоку.

Елена запрокинула голову и замолчала. Я представил ее одну, в этом доме с запечатанными дверями, с громадным холодным подвалом, с дребезжащими в ветер стеклами.

— Что здесь было, Ленка?

— В госпитале чего только не было.

— Страшно?

— Привыкаешь. Я только почему-то одного мальчика не могу забыть, курсанта без документов. Его ранило в живот, а мы уже ничем не могли ему помочь. Ему даже воды нельзя было давать, и мы в конце концов дали ему спирта...

Я вспомнил, как под Саратовом разгружали санитарный поезд, и видел забинтованных людей, непохожих даже на людей, и яркие красные пятна на бинтах. Я тогда испытал ужас, смешанный с глубоким сочувствием, потому что хоть я и не знал этих людей и не мог почувствовать, насколько им больно, но в тот момент я словно ощутил их боль в себе, и меня охватил страх перед возможным.

Тут зажегся свет. Мама как-то сиротливо прислонилась к двери и, глядя не на меня и не на Елену, а на выщербленную паркетину, сказала:

— Ты прости меня, Леночка. Я бы не стала у тебя спрашивать, твою рану бередить, если бы знала. Мы же действительно не знали. Даже Ольга Ивановна...

Елена не шевельнулась, только закрыла глаза.

Мама это заметила и, посмотрев на меня, всплеснула руками:

— Давайте займемся уборкой!

— Давайте танцевать! — сказала Елена.

— Давайте танцевать! — закричала развеселившаяся Елена, прихлопнула в ладоши и

понеслась по комнатам, отбивая чечетку. Гости ринулись за ней, разбрасывая стулья. «Во дает именинница!» — подмигнул мне белобрысый, весь в белом, парень и поскакал вслед за остальными.

Я сидел в углу, за роялем, и жевал яблоко. Митя остался в большой комнате, подошел к роялю и тихонько заиграл. Звуки урчали в деревянном корпусе и передавались в толстую изогнутую ножку, к которой я приложил ухо и слушал.

Тут вся толпа влетела в комнату, и Еленины ноги мелькнули у моего лица. «Эх раз, еще раз!» — выкрикивал белобрысый парень, не сводя глаз с именинницы, и все кричали что-то нескладное, а Елена без всякого усилия взнеслась на стол, покрытый толстой клетчатой скатертью, и мелко-мелко застучала каблуками.

Потом вдруг все почти разом замолчали и стали отходить к дверям. Посередине комнаты стояли мама и Николай Арсеньевич. Елена на секунду приостановилась и все-таки отстучала еще несколько тактов, а потом спрыгнула на пол. Гостей уже не было, только Митя задержался было, но и он ушел. Я как сидел за роялем, так и остался, перестал жевать.

— Как ты себя ведешь,— сказала мама.— И это моя дочь!

— Достойно,— ответила Елена.— Я беру пример с тебя.

— Анюта, посмотри, в каком она состоянии,— Николай Арсеньевич тронул маму за плечо,— ей сейчас ничего не стоит оскор...

— Замолчите,— крикнула Елена,— вас не спрашивают!

И она вышла, махнув малиновой юбкой.

— За что же она меня так ненавидит,— воскликнул Николай Арсеньевич и закрыл лицо руками, как будто собирался заплакать,— не я ли делаю для вас столько хорошего!

Кольцо у него на руке сверкнуло коричневым камнем.

Тут я вылез из-за рояля и пошел в коридор. Николай Арсеньевич открыл лицо и посмотрел на меня с удивлением, не понимая, откуда я мог взяться.

Я спустился вниз, на улицу, и уселся на скамейку у подъезда. За спиной, в кустах, я услышал рыдания Елены и Митин голос:

— Аленушка, ну перестань же...

— Я не Аленушка! — вдруг зло выкрикнула Елена.— Я прекрасная Елена!

— Перестань. Нельзя же так.

— Уходи! — рыкнула Елена так, что я даже испугался.

Кусты зашуршали, и Митя вышел на тротуар. Постоял немного и уже повернулся, чтобы уйти, как из кустов донеслось:

— Митенька, не уходи. У меня, кроме тебя, ничего нет.

И Митя вернулся.

— Ленка, хватит,— сказал я, предчувствуя бурю.

И мы опять расселись вокруг ящика.

— Елена, а где же мебель?— спросила мама, словно только что заметила.

— Продала.

— Боже, но кому же была нужна эта рухлядь? Неужели и комод кто-то купил?

— Комод я сожгла. Остались только папины книги.

— Я одного не понимаю — как ты могла распоряжаться без меня? Если бы папа был жив, он вряд ли похвалил тебя за это.

— Он и тебя за многое бы не похвалил.

— Мне лучше знать,— начала заводиться мама,— и я запрещаю тебе разговаривать со мной таким тоном. И запрещаю трогать папу, когда ты ищешь повод для истерики.

— Очень тебе нужен был наш папа,— Елена, застыв, смотрела в пустую чашку.

— Поганка, как у тебя язык поворачивается?— мама махнула мне рукой.— Выйди, Всеволод.

— Сиди, Волька,— сказала Елена.— Он же не ребенок уже. И я все помню.

Я тоже помнил.

Папа был врачом и приходил всегда поздно. Он открывал дверь ключом и снимал в передней тяжелое черное пальто. Он всегда казался уставшим, потому что, видимо, действительно уставал на работе. Если я еще не спал, он, проходя в свой кабинет через комнату, почти незаметно кивал головой, не глядя на меня, и непонятно было, то ли он здоровается, то ли думает о своем.

Иногда по ночам я просыпался и, глядя на полоску света у приоткрытой двери кабинета, никак не мог уснуть. Папа чиркал спичкой, постукивал чашкой о блюдце, ходил, и паркетины под его ногами сухо скрипели. Мне было тревожно в такие минуты: то хотелось встать и плотно закрыть дверь, то распахнуть ее и посмотреть, что делает там папа.

Если папа приходил рано, они часто сидели в кабинете с Еленой. Они подолгу говорили о вещах, которые я тогда понять не мог, и только тихо, про себя, обижался, что никто не занимается со мной.

С мамой папа здоровался по утрам точно так же, как и со мной, а когда они встречались в комнатах, то отступали по полшага в сторону, как будто больше всего на свете боялись задеть один другого.

Папа уже лежал в больнице, когда у нас впервые появился Николай Арсеньевич, но я с ним был уже знаком, потому что до этого мы часто гуляли по вечерам втроем — я, мама и он. Когда он пришел к нам в гости, он принес мне машину с механическим заводом, Елене — коробку конфет, а маме — духи в маленькой коробочке. Елена оставила конфеты на столе и ушла, я играл с машиной, а мама и Николай Арсеньевич допоздна сидели в большой комнате и о чем-то говорили тихо.

В больнице папа лежал долго, и Елена ходила к нему каждый день, возвращаясь к позднему вечеру. А потом меня отвезли на неделю к бабушке. Вернувшись, я узнал, что папы больше нет.

С того дня все изменилось, потекло по установленным мамой порядкам, которые заключались в ее непрестанной суете, шарканье по комнатам, в вечерних ее посиделках с Николаем Арсеньевичем и в какой-то невиданной доселе веселости, с которой мама повела хозяйство. Только Елена, запиравшаяся в бывшем папином кабинете, вносила чуждый штрих в мамину жизнерадостность.

— Я тебе этого не прощу,— сказала мама.

Не знаю, что могло быть дальше, потому что Елена открыла рот, но тут оглушительно зазвенел звонок у входной двери. Я уже позабыл, как он звенит, и теперь высокий звук его испугал меня своей неожиданностью.

— Господи, боже мой,— мама спешно поправила волосы,— вдруг это Николай Арсеньевич?

Она побежала открывать, и, пока она копалась с задвижкой, звонок все заливался. Потом дверь открылась, там секунду помолчали, и мама, растерянная и недоумевающая, вернулась к нам.

Вслед за ней в комнату вошел невысокий, крепко сбитый майор. Он остановился в дверях, оглядел всех нас, но не растерялся, а пошевелил темными бровями и сказал:

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Потом подошел к маме и протянул широкую ладонь:

— Миша.

Елена как сидела, так и осталась сидеть, как будто издали за всем наблюдая.

— Анна Сергеевна,— мама протянула руку для пожатия, но майор нагнулся и поцеловал.

— Моя мама,— сказала Елена с дивана.

Майор протянул руку мне и повторил:

— Миша.

— Всеволод,— ответил я и быстро сунул руку в его ладонь, потому что мне показалось, что он тоже поцелует ее сейчас. Но он как-то хорошо, по-братски, ее потряс.

Мама посмотрела на меня, ища поддержки, но я тоже не знал, что делать, а Елена молчала.

— Так,— сказал майор,—приехали, значит.

— Приехали,— поддержала беседу мама.

— Ну, тогда, я думаю,— начал майор, но мама его перебила:

— Да что же вы стоите, садитесь, Михаил... простите...

— Миша, Миша,— майор махнул рукой.

Я сидел в кресле, и ему пришлось сесть на диван. Елена подвинулась к другому краю и посмотрела на Мишу насмешливо, а он улыбался ей просто и широко.

— Ну что ж, хозяюшка,— сказал майор, непонятно к кому обращаясь,— собирай-ка стол. За приезд, так сказать, надо.

Мама всплеснула руками, словно обрадовавшись, и убежала. Миша притащил звякающий портфель и поставил на ящик бутылку.

Мы с Еленой переглянулись незаметно, и она мне улыбнулась, на мгновение прикрыв глаза.

— Ну,— разлив по рюмкам, начал тост Миша.— За все, что хорошо заканчивается!

Все кивнули и выпили. Мама потянулась к консервам, Елена закурила, а майор выдохнул и сказал:

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

И тоже закурил.

— Значит, из Саратова?

— Из Саратова,— подтвердила мама.

— Ну, и как там, в Саратове?

— Очень хорошо,— сказал я.

Майор и мама разговорились, нашли каких-то общих знакомых, потом он начал рассказывать анекдоты, и мама от души хохотала.

Она часто вставала и уходила на кухню, затем зачем-то переоделась и вышла к нам в другом платье — большими желтыми бутонами.

— О! — сказал Миша и поцеловал маме руку.— Вы — чудо.

Майор подсел к Елене и обнял ее за плечи. Елена как-то странно улыбнулась, встала и закурила у окна.

Мама опять вышла.

— Ты — Елена прекрасная,— сказал Миша. Елена вздрогнула.— Красотуля ты моя.

Он достал из портфеля вторую бутылку и, взяв чашку, пошел на кухню за водой. Елена скользнула в коридор, и я услышал, как тихо щелкнула входная дверь.

Миша вернулся и удивленно поднял брови.

— Во! — сказал он.— Где ж она?

— Ушла,— ответил я.— Вы ее теперь не дождетесь.

Миша хмыкнул и, взяв бутылку, пошел на кухню.

Я стоял у окна и смотрел, как к стеклу липнут большие снежинки.

С кухни доносились бурчание Миши и довольный мамин смех.

Содержание

ЛЮДМИЛА ВОЛЧКОВА

Личная жизнь

АЛЛА СЕЛЬЯНОВА

Странники

Людмила Николаевна Волчкова

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Рассказы

Алла Львовна Сельянова

СТРАННИКИ

Рассказы

Редактор **Л. Степаненко**

Художественный редактор **А. Никулин**

Технический редактор **В. Тушева**

Корректоры **Г. Селецкая, О. Добромыслова**

ИБ № 4706

Сдано в набор 19.12.86. Подписано к печати 20.05.87 А07590. Формат 70x90/32. Гарнитура литер. Печать офсет. Бумага офсет. № 2.Усл. печ. л. 10,53. Усл. краск.-отт. 21,06. Уч.-изд. л. 10,68. Тираж 30 000 экз. Заказ 340. Цена 95 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

Волчкова Л. Н.

В 68 Личная жизнь. Сельянова А. Л. Странники: Рассказы. — М.: Современник, 1987.— 285 с. («Книжки в книжке»).

В сборник вошли рассказы молодых ленинградских авторов Людмилы Волчковой и Аллы Сельяновой, объединенные общей темой — они о наших современниках.

Л. Волчкова и А. Сельянова — участницы VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.

В $\frac{4702010200 - 197}{М106(03) - 87}$ 34 — 87

ББК84Р7
Р2

н-
к,

то-
ые

ю-

97




ЛЮДМИЛА ВОЛЧКОВА АЛЛА СЕЛЬЯНОВА